This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

62273

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

5025

22

62273

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

5025

22

БУНТЪ
ИВАНА ИВАНЫЧА

Basinski, I. I.

БУНТЪ ИВАНА ИВАНЫЧА

ВСХОДЫ

МАКСИМА БѢЛИНСКАГО

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ и МОСКВА
1886

ТИПОГРАФІЯ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

СПБ., ВАС. ОСТР., 16 Л., Д. № 5)

PG 3467
I3 B6

БУНТЪ ИВАНА ИВАНЫЧА

I

ВАНЪ Иванычъ Чуфринъ всталъ рано; ему не лежалось.

Солнце играло на полосатыхъ обояхъ его кабинета, на лакированныхъ частяхъ мягкихъ креселъ, на бронзовой крышкѣ огромной чернильницы, на хрустальной вазѣ, гдѣ въ рыжей водѣ увядалъ букетъ цвѣтовъ, распространяя кругомъ травянистый, болотный ароматъ, на стеклахъ гравюръ и фотографій, на крашеномъ полу; и воздухъ, въ широкихъ снопахъ свѣта, лившихся косо изъ огромныхъ оконъ, завѣшенныхъ до половины темной драпировкой, былъ нагрѣтъ и сіялъ, слегка туманный отъ пыли.

Иванъ Иванычъ окинулъ недовольнымъ взглядомъ обстановку кабинета и подумалъ:

— Въ послѣдній разъ, слава Богу, дышу этой мѣщанской атмосферой.

Подойдя къ зеркалу, онъ разгладилъ черные шелковистые усы на своемъ красивомъ, нѣсколько гусарскомъ лицѣ, съ глубокими и темными глазами, съ высокимъ бѣлымъ лбомъ, маленькимъ подбородкомъ и горбатенькимъ носомъ, вздохнулъ и сладостно зѣвнулъ, потянувшись.

Потомъ онъ улыбнулся долгой, вдумчивой улыбкой и грузно сѣлъ на диванъ, откинувши голову и протянувъ ноги, обутыя въ бисерныя туфли, и заломилъ руки, съ счастливымъ и мечтательнымъ выраженіемъ лица.

Онъ сидѣлъ такъ минутъ пять, повторяя:

— Свободенъ, свободенъ!

И ему казалось, что до сихъ поръ онъ былъ въ тюрьмѣ, въ цѣпяхъ, окруженный какимъ-то промозглымъ мракомъ, а теперь предъ нимъ раскрыли двери его подземелья, и онъ видитъ въ перспективѣ радужныя дали, въ дымкѣ которыхъ носятся неопредѣленные призраки. Всматриваясь въ ихъ черты, онъ узнаетъ себя и ее, свою дорогую

5025

22

БУНТЪ
ИВАНА ИВАНЫЧА

— Покажи... когда-нибудь! — сказалъ онъ равнодушно и даже хотѣлъ зѣвнуть, но не вышло.

— Послѣ обѣда покажу. Прелесть, говорю тебѣ, — убѣжденно повторила Полина Марковна, и, съѣвъ съ аппетитомъ нѣсколько ложекъ супу, опять начала, пріятно улыбаясь: — А замѣтилъ, какіе у ней глаза? Проницательные и тихіе такіе...

Ему сдѣлалось безотчетно неловко. Онъ нахмурилъ брови, потомъ усмѣхнулся.

— Глазъ-то ужь совсѣмъ не замѣтилъ, то есть... мало замѣтилъ... Глаза какъ глаза, — произнесъ онъ и опять усмѣхнулся и сталъ прилежно ѣсть.

Онъ лгалъ, что не замѣтилъ глазъ Сонечки. Эти глаза произвели на него впечатлѣніе. Въ первый разъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ женился (совсѣмъ юношей), сумракъ окружавшихъ его будней освѣтился на мгновеніе кроткимъ блескомъ этихъ глазъ, и онъ не могъ забыть ихъ ни на секунду. Тревожное чувство волновало его, ему было и стыдно, и досадно.

Жена сказала:

— Нѣтъ, мой душоночекъ, вижу, ты

Basinski, I. I.

БУНТЪ ИВАНА ИВАНЫЧА

ВСХОДЫ

МАКСИМА БѢЛИНСКАГО

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ и МОСКВА
1886

Онъчувствовалъ себя одинокимъ, и общество Полины Марковны только обостряло это чувство. Никогда не смѣя мечтать о радикальномъ переворотѣ, напримѣръ, о разводѣ съ женою, онъ, тѣмъ не менѣе, сталъ рваться къ какимъ-то неопредѣленнымъ перспективамъ, откуда, чуть видные, плѣнительно улыбались ему чьи-то глаза...

Была осень. Онъ не пошелъ на службу, а забрался въ казенный садъ, густой и большой, разросшійся на склонѣ крутаго берега. Высокіе вязы и дубы протяжно шумѣли. Въ остывающемъ воздухѣ крутились краснобурые листья и шуршали подъ ногами. Лучи солнца обливали землю нѣжно-янтарнымъ блескомъ. Стрекотали сороки, кричали вороны.

Иванъ Иванычъ шелъ, снявъ шапку, скорымъ шагомъ. Онъ негодовалъ на жизнь, находилъ ее пошлой. Вотъ ему теперь двадцать три года, размышлялъ онъ, а ужь его жизненная пѣсенка спѣта. Возврата нѣтъ. Онъ преждевременно постарѣлъ, чиновно-солиденъ, хотя трепещетъ начальства, и смутился бы, встрѣтивъ въ этотъ часъ, неположенный для прогулокъ, гдѣ-нибудь на поворотѣ аллеи, Павла Кириллыча, управ-

ляющаго канцеляріей. Сослуживцы завидуютъ ему, пророчатъ блистательную карьеру, и червь крапивнаго честолюбія уже щекочетъ, по временамъ, его нервы. Онъ вспомнилъ, какъ однажды промечталъ всю ночь о мѣстѣ управляющаго, представлявшемся ему въ далекомъ будущемъ цѣлью его служебнаго усердія. Ему сдѣлалось совѣстно. Вспомнилось такъ же, какъ въ началѣ его поступленія на службу секретарь училъ его подавать начальнику газету, и какъ онъ сталъ ее подавать, размѣченную синимъ карандашомъ, пріятно изогнувъ станъ. И ему опять сдѣлалось совѣстно.

Деревья все шумѣли. Это былъ тихій, меланхолическій шумъ. Сверкая, проносилась въ воздухѣ паутина. Пахло осенью.

Иванъ Иванычъ сѣлъ на скамейку, влажную кое-гдѣ отъ дождя, который шелъ ночью, и обросшую мохомъ. Онъ закурилъ папиросу, глядя вдаль, въ чащу деревьевъ, гдѣ мѣстами вырѣзывалось свѣтло-голубое небо. Неопредѣленная тоска мучила его. Правда, въ этомъ тосковаціи было что-то пріятное. И онъ готовъ былъ бы просидѣть такимъ манеромъ безконечно долго, лишь бы не тревожили его соображенія о разныхъ

антипатичныхъ сторонахъ его дѣйствительности. Но они поочередно занимали его умъ и мѣшали ему забыться.

На первомъ планѣ, незамѣтно для него, выступила Полина Марковна. Это была высокая, грудастая двадцати шести-лѣтняя блондинка, съ свѣжимъ, красивымъ лицомъ и большими, красными руками, ужасно сильными. Ему было девятнадцать лѣтъ, когда онъ встрѣтился съ нею на одномъ сельскомъ вечерѣ въ домѣ, гдѣ былъ учителемъ. Тогда онъ любилъ все американское, и образцомъ человѣка былъ для него дѣятельный и самостоятельный янки. Онъ даже о переселеніи въ Америку подумывалъ. Полина Марковна такъ самостоятельно хохотала, такъ краснорѣчиво отстаивала права женщины, такъ превосходно играла персидскій маршъ (между прочимъ), такъ смѣло смотрѣла на него, не скрывая, что любуется имъ, такъ мило болтала съ нимъ въ темной аллеѣ сада и такъ искренно жаловалась, что ей, пожалуй, придется просидѣть весь вѣкъ въ дѣвахъ и ни разу не узнать, въ чемъ заключается счастье взаимной любви, что онъ тутъ же влюбился въ нее, сталъ ѣздить въ Анисовку, деревню, гдѣ она жила, и черезъ

мѣсяцъ сдѣлалъ предложеніе. Полина Марковна выслушала его, зардѣвшись, схватила, въ радостномъ порывѣ, за обѣ щеки пальцами, точно онъ былъ маленькій мальчикъ, и крѣпко поцѣловала его въ губы долгимъ, ноющимъ поцѣлуемъ, такъ что съ нимъ чуть обморокъ не сдѣлался. Потомъ повела его къ матери и отрекомендовала, какъ жениха, на что старуха, критически взглянувъ на него своимъ единственнымъ глазомъ и пожевавъ губами, произнесла:

— Жиденекъ онъ, Павличка, для тебя. Тебѣ мужчина нуженъ крѣпкій, толстый. А это какой же мужчина. Это красная дѣвушка. Но, впрочемъ, твое желаніе такое, и я не вольна идти вопреки. Господь благословитъ тебя!

И, махнувъ рукой, она потянулась къ своей черепаховой табакеркѣ, какъ бы давая знать, что аудіенція кончилась.

Все это было чрезвычайно по-американски. Но самое американское предстояло впереди. Объявивъ Ивана Ивановича своимъ женихомъ, Полина Марковна стала съ этого момента обращаться съ нимъ съ какой-то материнской предупредительностью. Вечеромъ, она не отпустила его домой, потому что

поднялся туманъ, и онъ могъ заблудиться въ полѣ, и оставила его ночевать. Она сама постлала ему постель въ залѣ и долго играла, пока у него не стали слипаться глаза, и громъ его любимаго, персидскаго марша не превратился въ грохотъ какой-то фантастической битвы, гдѣ Полина Марковна предводительствовала войсками, вся въ пороховомъ дыму. Замѣтивъ, что онъ засыпаетъ, она ушла. Но едва онъ легъ и вторично заснулъ, какъ почувствовалъ, что не одинъ, что возлѣ него дышетъ чья-то грудь. Ему сдѣлалось страшно, холодный ужасъ стиснулъ его сердце, онъ крикнулъ и проснулся. Дѣйствительно, на колѣняхъ, положивъ голову на его подушку, стояла Полина Марковна въ ночной блузѣ и смотрѣла на него широкими глазами.

— Тише, глупенькій, — прошептала она, улыбаясь. — Зачѣмъ вы кричите и пугаете вашу жену?

И, защипнувъ его щеки сильными пальцами, опять поцѣловала его тѣмъ долгимъ ноющимъ поцѣлуемъ.

Онъ чуть не задохся. Голова его кружилась, но сонъ прошелъ.

Свѣтало. Онъ протянулъ руки къ Полинѣ Марковнѣ...

Когда утромъ онъ возвращался къ себѣ, и золотая рожь волновалась кругомъ, какъ море, вѣя на него медовымъ ароматомъ, онъ горделиво поздравлялъ себя съ побѣдой. Это была его первая побѣда. Но въ глубинѣ души таилось сознаніе, что побѣда эта похожа на пораженіе и что, во всякомъ случаѣ, она и послѣдняя.

Осенью онъ женился. Полина Марковна сказала ему послѣ вѣнца, что онъ честный человѣкъ и сконфузила его этимъ; это показалось ему циничнымъ. Развѣ онъ не по любви женился? И онъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на жену и впервые замѣтилъ, что она старовата для него и что другой, на его мѣстѣ, пожалуй, дѣйствительно, «хвостомъ прикрылся бы».

— Ахъ, отчего въ самомъ дѣлѣ? — съ тоской спросилъ онъ себя теперь. И, вздохнувъ, проворчалъ: — Дуракъ.

Онъ находилъ, что всѣ послѣдующіе четыре года его жизни съ Полиной Марковной неопровержимо доказали только, что поступилъ онъ неразумно, дѣйствительно. Куда дѣвалась его любовь къ Полинѣ Марковнѣ? И вообще ко всему американскому? Не этотъ ли американизмъ,—спрашивалъ онъ себя,—

былъ причиною его охлажденія къ ней? Въ самомъ дѣлѣ, ужасно непріятно, когда у жены сильныя руки, и она играетъ тобою, какъ мячикомъ, и, главное, щиплетъ тебя за щеки. Отъ этихъ щипковъ у него случались синяки. Она была самая безукоризненная жена, это правда. Домъ держала въ порядкѣ и даже нѣкоторомъ шикарномъ блескѣ; всегда у ней были образцовыя кухарки; умѣла принять гостей и сдѣлать такъ, чтобъ имъ не было скучно; была умна и болѣе или менѣе начитана, хотя ничего не смыслила въ поэзіи, но не смыслить въ высокомъ считалось въ то время модной добродѣтелью, такъ что это не кидалось въ глаза; заработывала въ годъ до тысячи рублей и ни гроша не стоила мужу, принеся еще, кромѣ того, въ приданое, болѣе двухсотъ десятинъ великолѣпнѣйшаго чернозема; считалась первой музыкантшей въ городѣ, нѣсколько бездушной, но съ замѣчательной бѣглостью; и вообще, чуть ли не во всѣхъ отношеніяхъ, стояла цѣлой головой выше дамъ, которыхъ зналъ Иванъ Иванычъ. Наконецъ, она его любила слѣпо, сумасшедшей любовью. Онъ это зналъ и думалъ, что было

бы лучше, еслибъ она такъ же простыла, какъ и онъ.

— Я ужасно неблагодаренъ, гнусно неблагодаренъ, — говорилъ онъ себѣ, — что плачу ей такимъ равнодушіемъ, скрытымъ, похожимъ на какую-то тихую ненависть. Но что же дѣлать, когда я не люблю ея? Она для меня такъ вотъ противна, какъ служба, на которую она же меня заставила поступить. Противна, и баста!

И онъ съ отвращеніемъ припоминалъ разныя мелочи, которыя, накопляясь, воздвигли между нимъ и Полиной Марковной цѣлую стѣну. По утрамъ она долго лежитъ въ постели, въ комнатѣ съ закрытыми ставнями, и кричитъ оттуда нѣжнымъ голосомъ, чтобъ онъ пришелъ, — выслушалъ ея сонъ. И это каждый день, потому что ей всегда снится что-нибудь удивительное. Онъ повинуется и при этомъ даже притворяется, ласкаясь къ женѣ, между тѣмъ, какъ въ душѣ его кипитъ досада. Затѣмъ Полина Марковна встаетъ и прежде всего полощетъ горло, но такъ громко, что хоть уши затыкай. Все это смѣшные пустяки, но они раздражаютъ его. За чаемъ она ужасно много ѣстъ и когда онъ уходитъ на службу, то, сіяющая

и красная отъ усердной ѣды, цѣлуетъ его жирными губами, отъ которыхъ пахнетъ ветчиной или сыромъ. О персидскомъ маршѣ, который прежде ему такъ нравился, онъ уже и не говоритъ: этотъ маршъ сдѣлался его истиннымъ мученіемъ, такъ часто исполняетъ его Полина Марковна, — конечно, чтобъ восхитить мужа. Привѣтливая со всѣми, она холодна и почти жестока съ прислугой, для которой, за разныя провинности, установила штрафы, взыскиваемые съ неумолимой акуратностью при выдачѣ жалованья. Иванъ Иванычъ, потихоньку отъ жены, возвращаетъ штрафы прислугѣ подъ предлогомъ платы «на чай», но это все-таки мало примиряетъ его съ некрасивостью факта. Самое же непріятное въ Полинѣ Марковнѣ то, что она имѣетъ привычку разглаживать себѣ пальцами брови, чтобъ онѣ лучше лежали, и дѣлаетъ при этомъ гримасу, крѣпко сжимая губы. Такую же самую гримасу Иванъ Иванычъ наблюдалъ у своей матери, но тогда она не казалась ему невыносимой, а теперь, когда Полина Марковна дѣлаетъ ее, его всего коробитъ. Отчего это? Онъ не могъ себѣ объяснить этого. Но, конечно, думалъ онъ, какая-нибудь

гримаса не можетъ же быть причиной, чтобъ взять да и разлюбить человѣка. Нѣтъ, тутъ что-то другое. «Тутъ все вмѣстѣ — вотъ что!» — неопредѣленно рѣшалъ онъ.

Бывали и ссоры между ними — безъ скандаловъ, безъ крика и брани, но все-таки тяжелыя. Они расходились по разнымъ комнатамъ и молчали. Иванъ Иванычъ тихонько рвалъ на себѣ волосы и проклиналъ часъ, когда познакомился съ Полиной Марковной. Грудь его саднѣла отъ нѣмаго гнѣва и тупаго отчаянія. Полина Марковна кидалась на постель, лицомъ въ подушки, или на диванъ, и плакала, находя, вѣроятно, что мужъ мало ее любитъ, иначе не спорилъ бы съ нею. Къ обѣду или чаю она выходила съ красными глазами и лицомъ, покрытымъ багровыми пятнами. Эти ссоры вызывались преимущественно несогласіями въ политическихъ вопросахъ, такъ какъ Иванъ Иванычъ не выносилъ въ близкихъ людяхъ сколько-нибудь консервативныхъ идей. Чѣмъ сильнѣе втягивался онъ въ чиновничью жизнь, съ ея сплетнями, интригами, попойками, послѣобѣденными снами, картами и прочими аттрибутами, тѣмъ ревнивѣе оберегалъ онъ клочки идеала, оставленнаго ему

въ наслѣдство ранней молодостью. Его раздражало, когда неделикатно тревожили эти реликвіи, составлявшія единственное украшеніе его внутренняго міра. Губы его дрожали и онъ говорилъ себѣ со злостью:

— Все стерплю, Господь съ нею; но *этого* — нѣтъ! — *Этого* нельзя!

Однако же, когда приходило время спать, супруги заключали миръ, и обѣ стороны оставались довольны, потому-что натянутое положеніе терзало ихъ, и они рады были выдти изъ него. Шагъ къ примиренію дѣлала Полина Марковна, обыкновенно за ужиномъ, вдругъ подкладывая мужу лакомый кусочекъ и ласково прося его, чтобъ онъ съѣлъ его. Тогда онъ, радуясь перемѣнѣ вѣтра, начиналъ думать, что не слѣдуетъ ссориться изъ-за убѣжденій, что просто смѣшно оскорбляться неодинаковостью взглядовъ на вещи, что впредь спорить съ женою онъ не будетъ, и протягивалъ ей руку, улыбаясь, а она отвѣчала, вся сіяющая, чувствительнымъ щипкомъ, отъ котораго онъ слегка морщился.

«Къ чему это я все объ ней, да объ ней?» — подумалъ Иванъ Иванычъ, отгоняя отъ себя назойливый рой воспоминаній, и

потускнѣвшихъ отъ времени, и совершенно свѣжихъ, и нетерпѣливо ударилъ по землѣ тросточкой, такъ что влажный песокъ брызнулъ.

«Нѣтъ, никуда отъ нея не уйдешь, нигдѣ не спрячешься!»—прошепталъ онъ съ тоской и всталъ.

Вдругъ послышались голоса и шорохъ листьевъ. Шли съ правой стороны. Тамъ былъ поворотъ аллеи. Иванъ Иванычъ тревожно прислушался. Голоса становились яснѣе, часто звенѣлъ молодой женскій смѣхъ, мелодично замирая въ тихомъ шумѣ, которымъ осень наполняла желтѣющій садъ, и ему вторилъ мужской хохотъ, счастливый и сочный. Вотъ показалась, наконецъ, и сама пара. Иванъ Иванычъ узналъ Лозовскаго и Свѣнцицкую.

Лозовскій былъ въ черной пуховой шляпѣ и походилъ на красиваго итальянскаго бандита, такой онъ былъ бородатый, черноглазый, и такая у него была походка — твердая и самоувѣренная. Свѣнцицкая расцвѣла за лѣто и производила впечатлѣніе розы, внезапно распустившейся въ этомъ блекнущемъ саду. Тирольска съ огромными полями и розовыми лентами бросала на ея

смѣющееся и сверкающее молодостью лицо горячую тѣнь. Золотые волосы, причудливо и граціозно кудрявясь, падали до плечъ и чуть-чуть развѣвались вѣтромъ. Блѣдно-зеленый бантъ былъ прикрѣпленъ на груди, и кончикъ его теребила загорѣлая ручка съ длинными пальцами. Во всей ея фигурѣ, тонкой и пропорціональной, была бездна чего-то милаго, какой-то своеобразной граціи, чего-то, что не встрѣчается у другихъ женщинъ, что составляетъ ея исключительную особенность.

Иванъ Иванычъ смотрѣлъ на нее во всѣ глаза, и сердце его билось, какъ отъ испуга.

«Вотъ она, эта дѣвушка», — думалъ онъ. «А вотъ ея женихъ», — подумалъ онъ затѣмъ, ревниво взглянувъ на Лозовскаго, и приподнялъ шляпу въ лихорадочномъ смятеніи, потому что ему вдругъ показалось чрезвычайно важнымъ, узнаетъ его или нѣтъ Свѣнцицкая.

Лозовскій отвѣтилъ на его поклонъ попріятельски, сверкнувъ бѣлыми зубами и бросивъ ему радостный взглядъ. Свѣнцицкая сдѣлала серьезное лицо и кивнула ему головой, бочкомъ, какъ и въ тотъ разъ. А онъ стоялъ и улыбался. Онъ слышалъ шумъ

ея платья, и ему казалось, что мимо проходитъ сама весна, существо идеальное, недосягаемое, но все-таки вѣдающее, что на бѣломъ свѣтѣ живетъ нѣкто Иванъ Иванычъ Чуфринъ.

Когда пара скрылась изъ виду и голосъ дѣвушки совсѣмъ стихъ въ отдаленіи, Иванъ Иванычъ поднесъ платокъ къ лицу. Лобъ его горѣлъ, ему было жарко. Кругомъ садъ казался пустыней. Природа засыпала, слабо борясь еще съ дремотою, но уже чувствовалось, что зима не за горами. Молодой человѣкъ долго съ завистью смотрѣлъ впередъ. Потомъ вздохнулъ, нахмурилъ брови и быстро зашагалъ вонъ изъ сада.

Цѣлую недѣлю затѣмъ онъ тосковалъ самымъ мучительнымъ образомъ, просиживалъ у открытаго окна часы и угрюмо молчалъ, между тѣмъ какъ въ душѣ его слагались фантазіи удивительно яркія, снились золотые несбыточные сны, разсказать которыхъ онъ никому не могъ бы, потому что и словъ не достало бы, и стыдно сдѣлалось бы, какъ бываетъ стыдно дѣвушкѣ, впервые открывшей въ себѣ что-то, что даетъ ей право на мечту о миломъ. И когда онъ покидалъ на время этотъ никѣмъ постороннимъ незри-

мый, фантастическій міръ, благодаря службѣ, или гостямъ, или Полинѣ Марковнѣ, то дѣйствительность только ярче выдѣляла предъ нимъ блескъ этого страннаго міра, такая она казалась темная и пошлая. Но бывали моменты, когда и она загоралась яркимъ свѣтомъ, точно небо, на которомъ въ ненастье вспыхиваютъ радуги. Моменты эти были моментами встрѣчь съ Свѣнцицкой и разговоровъ съ ней, и иногда длились цѣлые вечера, такъ какъ Свѣнцицкая стала бывать у Чуфриныхъ все чаще и чаще, преимущественно вмѣстѣ съ Лозовскимъ, вѣчно радостнымъ и ликующимъ. Разговоры эти велись обо всемъ — о томъ, что денегъ въ Россіи мало, урожаи плохи, мужикъ голодаетъ, о томъ, что классицизмъ вреденъ (тогда онъ только-что вводился), что Некрасовъ великій поэтъ, что Фурье симпатичнѣйшій соціологъ, что свобода совѣсти— залогъ благоденствія народовъ, что провинціальная среда заѣдаетъ. Велись они весьма обыденно, и больше общими мѣстами. Но Ивану Иванычу не было до этого дѣла. Въ нѣкоторыхъ фразахъ Сонечки, онъ узнавалъ свои фразы, которыми выстрѣливалъ шесть лѣтъ тому назадъ и которыя были

заимствованы изъ тогдашнихъ журналовъ. Онъ радовался этому и отвѣчалъ такими же фразами, на которыя Сонечка только вскидывала на него глазами, какъ бы въ знакъ солидарности съ нимъ. А онъ напрягалъ память и опять произносилъ что-нибудь красивое, опять выхваченное изъ какой-нибудь книжки «Современника» или «Русскаго Слова». Вообще въ присутствіи Свѣнцицкой онъ сильно заботился, чтобъ произвести хоть небольшой эффектъ своей особой, оживалъ, причемъ глаза его горѣли и пальцы рукъ слегка дрожали, смѣялся немного не натуральнымъ смѣхомъ, шутилъ, разсказывалъ анекдоты, былъ усиленно ласковъ съ Лозовскимъ и замѣчалъ, что и ходитъ, и сидитъ, и говоритъ, и жестикулируетъ иначе, чѣмъ въ обыкновенное время — какъ-то уже черезчуръ красиво, точно, помимо его воли, сама его фигура заботится о томъ, чтобъ быть пріятной.

Встрѣчи съ Свѣнцицкой случались гдѣ-нибудь на улицѣ или въ низенькихъ корридорахъ тускло освѣщеннаго театра. Чуфринъ упразднилъ послѣобѣденный сонъ и въ замѣнъ сдѣлалъ привычку ходить по городу, «безъ всякой цѣли», говорилъ онъ

себѣ, «куда глаза глядятъ», но при этомъ всегда внутри его что-то копошилось неугомонное и непрестанно какъ бы заявляющее ему о томъ, что цѣль у него есть и что слѣдуетъ ходить преимущественно вотъ по такимъ-то и такимъ-то улицамъ. Вотъ виднѣется каменный домъ купца Переканаева, съ дочерьми котораго занимается Сонечка, а вонъ квартира генеральши Онупренко, чопорной и смѣшной аристократки, у которой Сонечка тоже даетъ уроки. Невольно проходилъ мимо этихъ пунктовъ Иванъ Иванычъ по нѣскольку разъ, и затѣмъ съ тоской отходилъ прочь, когда ему начинало казаться, что на лицахъ идущихъ и ѣдущихъ играетъ вопросительная улыбка — «съ какой, молъ, это стати господинъ Чуфринъ на этомъ самомъ мѣстѣ вотъ уже цѣлый часъ валандается»? Завидѣвъ вдали женскую фигуру, похожую на фигуру Свѣнцицкой, онъ прибавлялъ шагу и ужасно досадовалъ, если ошибался, но зато былъ безмѣрно счастливъ, когда ошибки не случалось. Радостный смѣхъ неудержимо вылеталъ изъ его груди и онъ произносилъ: «а, здравствуйте!» такимъ тономъ, какъ-будто не видался съ дѣвушкой сто лѣтъ. Потомъ осыпалъ ее раз-

ными стереотипными вопросами — о здоровьѣ, урокахъ, занятіяхъ, хотя и не думалъ, что это стереотипные вопросы и не считалъ ихъ такими, потому что спрашивалъ, искренно интересуясь всѣмъ, что касалось дѣвушки. Она на все отвѣчала и, значитъ, давала право на дальнѣйшіе вопросы въ томъ же родѣ. Разговаривая, они доходили до самаго того дома, съ зеленымъ палисадникомъ и тополями, въ которомъ квартировала Сонечка. Она толкала калитку и прощалась съ нимъ, повернувъ къ нему голову. Зимній день догоралъ; голубоватый снѣгъ сверкалъ розовыми искорками; небо затягивалось холодными облаками; морозъ лютѣлъ. Но Ивану Иванычу было тепло. И розы на щекахъ Сонечки бывши ему милѣе настоящихъ розъ. Когда калитка захлопывалась, улица вдругъ пустѣла. Иванъ Иванычъ, однако, чувствовалъ себя нѣкоторое время хорошо. Улыбаясь, шелъ онъ назадъ и ему было пріятно видѣть на снѣгу слѣды ногъ Сонечки рядомъ съ слѣдами своихъ ногъ.

Въ театрѣ весь сезонъ давались плохо обставленныя пьесы, и мѣстную интеллигенцію привлекалъ своей удивительной игрой

только актеръ Шарамыкинъ, замѣчательный талантъ, которому случай не далъ возможности прогремѣть по всей Россіи, но который былъ выше Шумскаго, по мнѣнію Ивана Иваныча. Сонечка тоже восхищалась Шарамыкинымъ. Когда явленіе его кончалось и онъ уходилъ со сцены, она покидала ложу и безшумно и медленно бродила по корридору. Иванъ Иванычъ зналъ это, угадывалъ, какъ и почему волнуется душа дѣвушки, сочувствовалъ ей и рвался подѣлиться съ ней этимъ сочувствіемъ. Такимъ образомъ, онъ встрѣчались опять. Иногда не смотр я на обиліе словъ, готовыхъ слетѣть съ языка, онъ не произносилъ ни звука, и она молчала тоже. Но ему не было неловко. Молчаніе корридора, на стѣнахъ котораго, оклеенныхъ атласной бумагой, трепеталъ блѣдный отсвѣтъ керосиновыхъ огней, глухо нарушалось напряженными голосами актеровъ и актрисъ, которые ссорились на сценѣ, хохотали, говорили «въ сторону» все въ однмъ и томъ-же повышенномъ тонѣ. Сонечка шла возлѣ Ивана Иваныча въ своемъ темномъ платьѣ, съ рукавами, отдѣланными махровой ленточкой, наклонивъ русую головку, такъ что онъ видѣлъ ея нѣжный,

мягкій профиль, и не чуждалась его, не стѣснялась его непрошенымъ сообществомъ. Сомнѣнія на этотъ счетъ не могло быть, потому-что такъ тепло не жмутъ руку, какъ пожимала Сонечка. А ежели она молчала, то, вѣроятно, по той-же причинѣ, что и онъ. Онъ сознавалъ это или, лучше сказать, чувствовалъ это съ какимъ-то тихимъ блаженнымъ ужасомъ и все ждалъ чего-то...

Послѣ одной такой встрѣчи онъ вернулся домой въ странномъ восторгѣ. Ничего особенно необычайнаго не случилось и не было сказано ничего, что́ могло-бы радовать, но сердце его ликовало, и онъ былъ такъ милъ и любовенъ съ Полиной Марковной, что та сама стала радоваться и крѣпко поцѣловала его. Дѣло въ томъ, что онъ замѣтилъ взглядъ Сонечки, горячій и любящій, точно обнимавшій его украдкой. Когда глаза ихъ встрѣтились, она покраснѣла и сдѣлала серьезное, почти строгое лицо. Но уже было поздно. Иванъ Иванычъ крѣпко пожалъ ей руку, а она удивленно взглянула на него, и опять отвернулась и покраснѣла еще сильнѣе прежняго, и быстро ушла отъ него, отвѣтивъ, однако, на его рукопожатіе также крѣпко и тепло. Съ этого момента Иванъ

Иванычъ выросъ въ собственныхъ глазахъ и всю ночь не спалъ, повторяя: «да, и люблю и любимъ», между тѣмъ какъ изъ сумрака на него ласково смотрѣли чудные глаза дѣвушки—теперь уже совсѣмъ близко.

А Лозовскій? что съ нимъ? Подозрѣваетъ онъ что-нибудь, или ничего не подозрѣваетъ? Чуетъ-ли опасность? И если въ самомъ дѣлѣ Сонечка дружески расположена къ Ивану Иванычу, то есть, не дружески, а любовно, то какъ же относится она теперь къ Лозовскому? Эти вопросы отравляли Ивана Иваныча, не смотря на радость его. Правда,—утѣшалъ онъ себя,—Лозовскаго стало что-то рѣдко видать, и несомнѣнно у него съ Свѣнцицкой разладилось. Но тѣмъ не менѣе, надо знать все обстоятельно. Можетъ, у него и не было никакихъ серьезныхъ замысловъ на счетъ Сонечки, и все сочинила городская молва, а можетъ, и были, можетъ, даже далеко заходило. Послѣдняя мысль заставляла Ивана Иваныча вскакивать, сжимать кулаки и съ ненавистью думать о Лозовскомъ.

Лозовскій, какъ нарочно, зашелъ къ нему на другой день, когда онъ сбирался дѣлать послѣобѣденную прогулку. Иванъ Иванычъ

встрѣтилъ его съ маленькимъ недоумѣніемъ. «Зачѣмъ пожаловалъ? подумалъ онъ. Ужь не затѣмъ ли, чтобъ помѣшать»? И окинувъ его подозрительнымъ взглядомъ, поспѣшилъ улыбнуться натянутой улыбкой, которая означала и «милости просимъ» и «убирайся къ чорту». Лозовскій тряхнулъ кудрями и при этомъ брызнулъ растаявшимъ снѣгомъ на Ивана Иваныча, подалъ ему руку и тоже улыбнулся, сверкнувъ зубами. Оба ничего не сказали другъ другу, такъ что вышло немножко офиціально. Однако, когда усѣлись на диванѣ въ гостиной, то разговоръ завязался. Лозовскій вдругъ началъ съ критики новой книжки журнала, гдѣ печатался романъ, чрезвычайно интересовавшій всѣхъ по художественному исполненію и по жгучимъ вопросамъ, которыхъ касался, а Иванъ Иванычъ сталъ оспаривать мнѣнія гостя. Оспаривалъ онъ любезно, не горячась, и думалъ: «нѣтъ, едва ли онъ что-нибудь подозрѣваетъ», хотя и продолжалъ себя чувствовать не совсѣмъ ловко. Это чувство упадало по мѣрѣ того, какъ росла его любезность, и на моментъ исчезло совершенно; но, покончивъ споръ съ гостемъ, онъ замѣтилъ, что усъ у того

дрожитъ отъ насмѣшливой улыбки. Чувство неловкости тогда опять возрасло у него, и въ головѣ его мелькнуло, что Лозовскій весь этотъ споръ о романѣ завелъ такъ себѣ, вмѣсто предисловія къ чему-то, о чемъ рѣчь будетъ впереди. Онъ сталъ ждать, посматривая на ногти, на кончики сапогъ, на давнымъ-давно примелькавшіяся картинки по стѣнамъ, въ окно, откуда виднѣлся бѣлый, какъ молоко, день, и гдѣ снѣгъ падалъ, медлительно и непрерывно, пушистыми хлопьями, задерживаясь на наружной сторонѣ стеколъ. «О чемъ же начнетъ онъ разговаривать теперь?» спрашивалъ себя Иванъ Иванычъ и съ тоской думалъ о Сонечкѣ, которая, пожалуй, возвращается ужь съ урока, и на ея мѣховомъ бурнусикѣ, бархатной шляпкѣ, и на розовыхъ отъ холода щекахъ, и на длинныхъ рѣсницахъ прищуренныхъ глазъ бѣлѣютъ и таютъ снѣжинки. Онъ вздохнулъ нетерпѣливо. Лозовскій между тѣмъ потянулся, зѣвнулъ весьма непринужденно и произнесъ, глянувъ на Ивана Иваныча немного сверху и искоса, такъ-какъ затылокъ его упирался въ спинку дивана, а руки были заложены въ карманы брюкъ, и ему трудно было повернуться:

— Небось, каждый день гуляете?

— Я?—спросилъ Иванъ Иванычъ съ испугомъ, потому что сказанное Лозовскимъ повидимому совершенно не вязалось съ предъидущимъ разговоромъ и слишкомъ прямо вело къ цѣли, то-есть укрѣпляло его сразу въ убѣжденіи, что Лозовскій подозрѣваетъ, какъ онъ относится къ Сонечкѣ.—Нѣтъ, не каждый день,—сказалъ онъ затѣмъ и точно такъ-же, искоса и сверху, посмотрѣлъ на Лозовскаго.

— Хорошая погода сегодня!—началъ Лозовскій, помолчавъ.—Ужасно люблю такую погоду. Вотъ и герой этого романа любитъ этотъ бѣлый тонъ, этотъ серебряный сумракъ, располагающій къ мечтамъ. Иногда я не прочь мечтать самъ, хоть и терпѣть не могу мечтать о несбыточномъ. А вы любите мечтать? Страсть какъ любите, и притомъ о несбыточномъ. Замѣчаю по тоскѣ вашихъ глазъ. Вѣдь я проницательный. Да и такъ слыхивалъ отъ васъ сужденьица и упованьица—ого-го-го! Однимъ словомъ, вы не даромъ фурьеристъ. Такъ вы не каждый день гуляете? А мнѣ казалось, каждый день.

Онъ снова замолчалъ. Иванъ Иванычъ нахмурился.

— Видите ли, дружище, вотъ что я вамъ скажу, — вдругъ началъ Лозовскій задушевно и понизивъ голосъ. — Мы хоть почти и ровесники, да я практичнѣе васъ, и поэтому выслушайте меня. Ради неба, дружище!

Онъ крѣпко и мягко пожалъ ему руку и посмотрѣлъ въ глаза дружескимъ взглядомъ. Лобъ Ивана Иваныча разгладился, неловкое чувство пропало на этотъ разъ уже совершенно. Онъ окончательно сообразилъ, къ чему клонитъ Лозовскій. «Хочетъ, чтобъ я исповѣдался ему», подумалъ онъ. Но расположившись къ нему такъ благожелательно, онъ почувствовалъ въ то-же время инстинктивно, что надо быть на-сторожѣ, и рѣшилъ все скрывать и даже прикрыть все ложью, приписавъ встрѣчи съ Сонечкой, если станетъ спрашивать объ нихъ Лозовскій, простому случаю. Поэтому и лицо онъ сдѣлалъ себѣ такое, что оно, будучи открытымъ, напередъ уже говорило, что «нѣтъ, братъ, шалишь, ничего отъ меня ты не вытянешь, ибо и вытягивать нечего».

И, дѣйствительно, Лозовскій сначала ничего отъ него не вытянулъ. Иванъ Ива-

нычъ кивалъ головой, пожималъ плечами, произносилъ: «ну, нѣтъ!», «помилуйте, батенька, что вы», «клянусъ вамъ», «да увѣряю же васъ», все съ оттѣнкомъ въ высшей степени убѣдительной искренности и внутренно недоумѣвалъ, почему такъ легко ломать ему эту комедію, причемъ видѣлъ, что положеніе Лозовскаго постепенно становится двусмысленнымъ и онъ уже не знаетъ, какъ изъ него выпутаться. Лозовскій, впрочемъ, не прямо завелъ рѣчь о томъ, влюбленъ Иванъ Иванычъ въ Сонечку или нѣтъ, и если влюбленъ, то чего отъ нея ожидаетъ, а издали, намеками, вопросами; но, можетъ, оттого ему и труднѣе было покончить съ этимъ разговоромъ солидно и съ сохраненіемъ надлежащаго достоинства. Однако же, когда-нибудь надо было покончить. Иванъ Иванычъ, быстро давая отвѣты Лозовскому, все оставался неуязвимъ, провидя каждый разъ, что означаетъ тотъ или этотъ вопросъ и какіе произойдутъ результаты, если сказать такъ, а не этакъ, и въ душѣ восхищался собою. «Экій я политикъ, думалъ онъ, право, и не подозрѣвалъ!» И сдѣлался смѣлъ, развязенъ и боекъ. Наконецъ, онъ сказалъ со смѣш-

комъ, въ которомъ рѣзко прозвучала заигрывающая нотка:

— Однако, послушайте, Илья Петровичъ. Вы вотъ начали съ того, что хотѣли преподать мнѣ нѣчто въ родѣ совѣта—что-жь именно вы мнѣ посовѣтуете и по какому поводу?

Лозовскій смолкъ, сдѣлалъ недовольную гримасу, взглянулъ на Ивана Иваныча такъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «мой совѣтъ—отстать отъ Сонечки» и, взявшись за шапку, застегнулъ пиджакъ, что Ивану Иванычу показалось знакомъ, что пора прекратить дружескія изліянія и пріятельскую бесѣду. Онъ пожалѣлъ, что увлекся, хотѣлъ поправить ошибку и сталъ удерживать гостя самымъ искреннимъ образомъ, безъ всякаго уже заигрыванія, прося его высказаться до конца. Но Лозовскій улыбнулся въ бороду, дескать «и изъ этого поведенія твоего могу я заключить, какія у тебя чувства, а больше хитрить съ тобой незачѣмъ, лицемѣръ ты этакій», и всталъ, глянувъ въ окно.

— Потолковали и довольно,—произнесъ онъ.

Потомъ спросилъ съ оживленіемъ:

— А каковъ романъ-то, а?

Улыбка въ бороду и этотъ вопросъ лишили Ивана Иваныча твердости, съ какой онъ велъ весь предыдущій разговоръ. Вопросъ былъ двусмысленный. Эти двусмысленности и остроты всегда позволяли Лозовскому выходить сухимъ изъ воды. Иванъ Иванычъ соображалъ нѣкоторое время, что бы такое отвѣтить; наконецъ, сказалъ:

— Мнѣ нравится, да...

— Прелесть, что такое!—подхватилъ Лозовскій.—Хотя я увѣренъ,—продолжалъ онъ входя въ залъ,—что этотъ его мечтательный герой кончитъ какой-нибудь гадостью. Оттого заранѣе не симпатизирую ему... Не правда ли?..

— Я съ вами несогласенъ, Илья Петровичъ,—сказалъ Иванъ Иванычъ слегка дрогнувшимъ голосомъ.—Герой хорошій человѣкъ...

— Увѣряю васъ, онъ просто дрянь,—сказалъ Лозовскій презрительно и посмотрѣлъ на Ивана Иваныча съ брезгливымъ выраженіемъ.

— Мнѣ кажется,—сказалъ Иванъ Иванычъ,—что дрянь—этотъ вотъ филистеръ, который фигурируетъ въ романѣ въ каче-

ствѣ дѣльца и развивателя молодой барышни. Она его не любитъ, а онъ все-таки лѣзетъ къ ней съ своимъ законнымъ бракомъ... Дрянь и даже свинья,—заключилъ Иванъ Иванычъ убѣжденно.

Лозовскій иронически улыбнулся и пытливо взглянулъ на Ивана Иваныча, которому опять между тѣмъ сдѣлалось досадно, зачѣмъ это онъ злится и обнажаетъ такимъ образомъ передъ соперникомъ свою душу.

Въ передней гость, надѣвши пальто и шапку, сказалъ съ небрежнымъ зѣвкомъ:

— Что вамъ не скучно? Поѣхали бы вмѣстѣ со мной куда-нибудь... Поѣдемте!

— Куда?—спросилъ Иванъ Иванычъ съ недоумѣніемъ.

— Поѣдемте къ Сонечкѣ,—сказалъ Лозовскій, понизивъ голосъ и сверкнувъ глазами.—Превеселая дѣвочка!

— Это какая же Сонечка?—спросилъ Иванъ Иванычъ, блѣднѣя.—Я... О комъ вы говорите?

— О Свѣнцицкой!—спокойно отвѣчалъ Лозовскій, очевидно наслаждаясь смущеніемъ Ивана Иваныча, вдругъ переставшаго владѣть собой.

— О Свѣнцицкой?—сказалъ Иванъ Ива-

нычъ сурово.—Такъ это не Сонечка и не дѣвочка. Это—Софья Павловна... Что за тонъ, какъ это такъ можно!

— Тише, пожалуйста!—благодушно сказалъ Илья Петровичъ, все продолжая наслаждаться гнѣвнымъ видомъ Ивана Иваныча, точно это была та именно исповѣдь, которой онъ тщетно добивался отъ него передъ этимъ.—Вѣдь я же право имѣю называть ее Сонечкой. Да и дѣвочка она еще, потому что лѣтъ на восемь моложе меня. Вы знаете, она моя невѣста? Все давно слажено у насъ, даже съ ея отцомъ. Могъ бы хоть сейчасъ жениться, но пусть подростетъ. Ха-ха! Чего же вы такъ распѣтушились? Она была бы очень рада, еслибъ мы пріѣхали къ ней на чай... Увѣряю васъ.

— Неловко,—сказалъ Иванъ Иванычъ упавшимъ голосомъ и подумалъ съ отчаяньемъ: «невѣста, до сихъ поръ невѣста!»

Торжествующій Лозовскій продолжалъ:

— Почему же, спрашивается, неловко? Съ женихомъ вѣдь! Иванъ Иванычъ, вѣдь я женихъ. Слышите? Никому я еще этого не говорилъ, а вотъ вамъ похвасталъ, потому что вы мой другъ и порадуетесь на насъ. Впрочемъ, до васъ, пожалуй, дохо-

дили вѣсти... Меня обручили съ Сонечкой раньше еще, чѣмъ идея эта у меня зародилась. Проницательный народъ наши сограждане, Иванъ Иванычъ!.. И такъ, ѣдемте. Я въ качествѣ жениха, а вы—въ качествѣ кого? Въ качествѣ, напримѣръ... въ качествѣ... въ качествѣ...

Ивану Иванычу былъ нанесенъ тяжелый ударъ. Лозовскій, казалось ему, видитъ его насквозь и читаетъ въ его мысляхъ все сокровенное. Политика его не удалась, онъ не умѣлъ сдержать себя и все выдалъ своимъ «дурацкимъ волненіемъ» (упрекалъ онъ себя). Теперь онъ ждалъ съ жгучимъ любопытствомъ конца фразы Лозовскаго, глаза котораго, темные и блестящіе, смѣялись изъ-подъ нахлобученной мѣховой шапки. Ихъ странный смѣхъ подтверждалъ его опасенія. И, въ отвѣтъ на него, въ груди его закипѣла злость.

— Нѣтъ, я не поѣду,—сказалъ онъ рѣшительно.—Что-жь, къ дѣвушкѣ неловко. Сами-жь насчетъ проницательности согражданъ говорите. Городъ подлый. И хотя вы и женихъ тамъ, но и вамъ неловко... Нѣтъ, я не того... не поѣду!

— Напрасно, — произнесъ Лозовскій и

слегка нахмурился.—Впрочемъ, я зналъ, что вы откажетесь.

Онъ ушелъ, посмѣиваясь въ бороду, подтрунивая надъ неумѣстной скромностью Ивана Иваныча.

Иванъ Иванычъ сдѣлался пасмуренъ и чуть не заболѣлъ. «Какъ же это,—думалъ онъ,—неужели она-таки выйдетъ за него? И то, что мнѣ вчера такъ привѣтно улыбнулось—сонъ, плодъ воображенія»!? Онъ похудѣлъ, осунулся. Мучительная тоска грызла его.

По цѣлымъ днямъ бродилъ онъ затѣмъ по улицамъ и въ лихорадочномъ волненіи все поджидалъ случая увидѣть Сонечку. Но Сонечка ни разу не встрѣтилась. Можетъ быть, она избѣгала встрѣчи съ нимъ. Наконецъ, онъ не выдержалъ и отправился прямо къ ней.

Онъ узналъ ее изъ корридора по тѣни, которую отбрасывала ея фигура на бѣлую занавѣску. Она сидѣла неподвижно, но голова ея слегка качалась, точно въ печальномъ раздумьи. Грудь Ивана Иваныча вспыхнула, ему сдѣлалось страшно.

«Зачѣмъ?—мелькнуло у него.— Назадъ! Вѣдь ты связанъ по рукамъ и ногамъ! Да-

же еслибъ полюбила она тебя дѣйствительно, то что могъ бы сдѣлать ты? Мечтатель! Но этого мало. Она другаго любитъ. Ты ставишь себя въ нелѣпое положеніе. Надъ тобой смѣяться будутъ и она, и Лозовскій. Назадъ! Ради Бога назадъ! Потомъ со стыда сгоришь!»

Но тянуло впередъ, тянуло неудержимо. Онъ вошелъ, ободряемый воспоминаніемъ объ ея взглядѣ, которымъ она осчастливила его недѣлю тому назадъ. Шепотомъ спросилъ у горничной, можно ли видѣть барышню, и уже не помнилъ, какъ очутился въ ея комнатѣ.

Сонечка пошла къ нему на встрѣчу, улыбаясь, но съ глазами широко раскрытыми отъ удивленія. Ярко горѣла стѣнная лампа и освѣщала ее. На ней была сѣрая блуза, стянутая кожанымъ поясомъ съ стальной пряжкой, и бѣлые воротнички. Отъ этого скромнаго наряда повѣяло на Ивана Иваныча чѣмъ-то строгимъ. И онъ робко протянулъ руку Сонечкѣ и посмотрѣлъ на нее почти умоляющимъ взглядомъ.

Она съ любопытствомъ взглянула на него, улыбнулась еще разъ, но уже застѣнчиво, и, пріятельски пожавъ его руку,—

точно хотѣла дать ему понять, чтобъ онъ не робѣлъ,—сказала:

— Здравствуйте, Иванъ Иванычъ. Садитесь, будете гостемъ. Что, холодно? А какъ здоровье Полины Марковны? У ней, помнится, флюсъ былъ?..

Иванъ Иванычъ ободрился. «Это хорошо, что она не сердится, что я пришелъ»,— подумалъ онъ. Потомъ махнулъ рукой и произнесъ: «Что флюсъ!» и чуть было не приступилъ къ изложенію главной цѣли своего посѣщенія, но помѣшало что-то въ горлѣ. Онъ кашлянулъ, сѣлъ, сказалъ, что морозъ «ничего себѣ», обвелъ глазами комнату и сталъ разсматривать рисовальныя принадлежности Сонечки—мольбертъ, палитру, кисти, оловянные флакончики съ красками.

— Вы рисуете?—сказалъ онъ затѣмъ любезно.

— Да, мажу...—отвѣчала Сонечка, конфузливо глянувъ на неоконченный этюдъ женской головы, висѣвшій въ простѣнкѣ. —Да и лѣплю,—прибавила она и такъ-же конфузливо посмотрѣла на глиняный бюстъ, стоявшій на высокомъ табуретѣ и, вѣроятно, только-что сдѣланный, потому что онъ былъ мокрый.

Иванъ Иванычъ всталъ, подошелъ, внимательно и даже съ восторгомъ осмотрѣлъ все и горячо похвалилъ. Сонечка пріятно улыбалась, но не признавала за своими произведеніями достоинствъ. Иванъ Иванычъ сталъ съ ней спорить и прочить ей славную будущность. Она краснѣла и качала головой, хотя можно было видѣть, что и она раздѣляетъ эти надежды и что ей нравятся похвалы Ивана Иваныча.

— А вы знаете, и у меня есть одинъ вашъ замѣчательный рисунокъ—я стащилъ его у Полины Марковны...—сказалъ вдругъ Иванъ Иванычъ съ торжествомъ, достаточно краснорѣчивымъ, чтобъ понять, что онъ особенно дорожитъ этимъ рисункомъ.

Сонечка тревожно взглянула на него.

— Какой рисунокъ? Ахъ да, плохой рисунокъ!—произнесла она, покраснѣвъ, и сдѣлала серьезное лицо.—Вы черезъ-чуръ хвалите меня, Иванъ Иванычъ. Я не стою такихъ похвалъ. Или, можетъ, вы льстите?

— О, нѣтъ, что вы!—воскликнулъ Иванъ Иванычъ съ огорченіемъ.—Вѣдь вы удивительная... Какая тутъ лесть... Я вотъ смотрю на васъ и дышать не смѣю отъ благоговѣнія... Право, какая ужь тутъ лесть!

Сонечка улыбнулась, взглянувъ неопредѣленно въ пространство, причемъ Иванъ Иванычъ замѣтилъ, что глаза ея какъ-то удивительно прекрасно потемнѣли за время, что онъ не видѣлся съ нею, и лѣниво подошла къ высокому табурету съ бюстомъ.

— Не говорите мнѣ такихъ вещей, Иванъ Иванычъ,—сказала она, не глядя на него, и провела лопаточкой нѣсколько штриховъ по глинѣ.

Онъ отвѣтилъ со вздохомъ:

— Хорошо...

Но затѣмъ, когда лопаточка упала на полъ, и Сонечка наклонилась, чтобъ поднять ее, и вставъ тряхнула волосами, глаза его вспыхнули и, подойдя къ ней, онъ произнесъ съ увлеченіемъ:

— Я не лгу, Софья Павловна, клянусь вамъ... Я, напримѣръ, уже счастливъ, что вы не гоните меня вонъ и терпите возлѣ себя... Мнѣ вѣдь и это въ диковинку...

— Молчите, — тихо сказала Сонечка и нахмурилась.

И онъ замолчалъ; но чувствовалъ, что началъ уже скользить по наклонной плоскости, что не можетъ удержаться въ границахъ, предписываемыхъ благоразуміемъ, и потому

горѣлъ желаніемъ излить душу — на чистоту, и ожидалъ лишь удобнаго момента, когда разгладятся чуть замѣтныя морщины на лбу Сонечки и блѣдное лицо ея разцвѣтетъ улыбкой и привѣтливо зарумянится. Однако, ждать пришлось очень долго. Сонечка была упорно серьезна, какъ никогда, и даже неопредѣленная улыбка ея глазъ исчезла. Иванъ Иванычъ, подъ конецъ, сидѣлъ какъ на горячихъ угляхъ. Разговоръ клеился теперь плохо.

«Нѣтъ, скажу прямо и сразу, думалъ все Иванъ Иванычъ. Если она любитъ меня хоть чуточку, чего нельзя допустить и что́, положимъ, несбыточно, но о чемъ, однако, можно же мечтать, то признаніе мое лишь ускоритъ развязку. Если же не любитъ, что въ высшей степени вѣроятно, ибо тотъ милый взглядъ былъ просто случайно брошенъ и могъ быть вызванъ мыслью о Лозовскомъ, то все равно — чѣмъ скорѣй освободиться отъ иллюзій, тѣмъ лучше! Мукъ не будетъ, то-есть муки будутъ — и какія муки! — да томленія не будетъ!»

«Томленія не будетъ!» повторилъ онъ мысленно эту же фразу черезъ минуту и все-таки не приступалъ къ своему рѣши-

тельному разговору, а сидѣлъ и терзался. Положеніе его тѣмъ болѣе было неудобно, что Сонечка, точно забывъ объ его присутствіи, вся, повидимому, ушла въ работу и отдѣлывала бюстъ, такъ что онъ боялся ей мѣшать и не раскрывалъ рта, между тѣмъ, какъ въ умѣ его начинала копошиться назойливая мысль о приличіи, о томъ, что пора уходить, — мысль, глушившая другія мысли. Къ довершенію же терзанія въ передней послышались знакомые твердые шаги Лозовскаго, и тотъ вошелъ въ комнату безъ доклада, вдругъ распахнувъ двери. Ивана Иваныча точно варомъ обварило, и онъ на секунду принизился, искренно пожелавъ себѣ провалиться сквозь землю.

— А, честная компанія!—сказалъ Лозовскій съ веселымъ смѣшкомъ, кланяясь манерно, по-прикащичьи, и пронизавъ взглядомъ сначала Ивана Иваныча, потомъ Сонечку.

Иванъ Иванычъ всталъ и подалъ ему руку, которая дрожала до самаго локтя. И также дрожали его губы, когда онъ спросилъ, желая быть, по возможности, развязнымъ:

— Какъ поживаете?

На что Лозовскій только усмѣхнулся и кивнулъ головой — дескать «поживаю отлично», и затѣмъ обратился съ вопросомъ къ Сонечкѣ.

— Не раздумали?

— Раздумала,— отвѣтила она послѣ паузы, колеблясь, и вообще Ивану Иванычу казалось, что появленіе ея жениха нѣсколько испугало ее.

— Это мы въ театръ собирались, — объяснилъ Лозовскій Ивану Иванычу. — Какъ же это вы раздумали?—обратился онъ опять къ дѣвушкѣ, въ рукахъ которой лопаточка ходила уже не съ такой твердостью, не въ опредѣленныхъ направленіяхъ, а какъ-то ощупью, какъ бы наугадъ.

— Такъ, уже не хочется,—отвѣчала она.

— Шарамыкинъ роль какую играетъ! Умрете отъ наслажденія! Матушка-а!—протянулъ онъ съ дѣланнымъ увлеченіемъ, все въ той же манерѣ прикащика, которую усвоилъ себѣ при входѣ въ комнату, и въ которой, повидимому, рѣшилъ вести и всю дальнѣйшую бесѣду.

«Этакимъ манеромъ онъ отъ всего отшутится, — подумалъ Иванъ Иванычъ съ отвращеніемъ, чувствуя на себѣ насмѣшливый

взглядъ Лозовскаго, — а меня оскорбитъ, намекомъ или чѣмъ-нибудь». «Ужь вотъ взглядомъ онъ меня оскорбляетъ», рѣшилъ онъ, и щеки его вспыхнули, а глаза опустились, и онъ сталъ перебирать флаконы съ красками, отвинчивая и снова навинчивая ихъ оловянныя пробочки.

— Ну, не хотите въ театръ, такъ будемте чай пить, — сказалъ вдругъ Лозовскій и грузно сѣлъ на кровать, такъ что она затрещала. — Прикажите! Да тамъ вонъ въ пальто книжка — прелесть я вамъ скажу. Захватите по дорогѣ и оставьте у себя. Совѣтую проштудировать.

— Спасибо! — произнесла Сонечка и вышла. Въ походкѣ ея торопливой, какъ и подобало въ данномъ случаѣ, потому что хозяйки всегда любезно суетятся, а въ особенности молодыя, было однако что-то робкое и застѣнчивое, и тутъ, въ этой застѣнчивости Иванъ Иванычъ смутно угадывалъ точку соприкосновенія своего душевнаго міра съ душевнымъ міромъ дѣвушки; а потому и считалъ себя, въ виду грознаго противника, не совсѣмъ еще безсильнымъ и былъ готовъ, при случаѣ, даже сразиться съ нимъ.

не могъ сдержать торжествующей улыбки и чуть не бросился стаскивать Лозовскаго съ кровати.

Лозовскій поспѣшно привсталъ.

— Даже еслибъ и близость была, — отшутился онъ, — то при семъ кавалерѣ мнѣ ложиться на вашу постель не подобаетъ, это я понимаю и приношу миллiснъ извиненій... А оправданіемъ мнѣ да послужитъ то обстоятельство, что онъ, Иванъ Иванычъ, уморилъ меня со смѣху! Право! И я долженъ былъ упасть въ изнеможеніи на ваше прелестное ложе...

Онъ поклонился опять по-прикащичьи и мелькомъ взглянулъ на Ивана Иваныча, глаза котораго потемнѣли отъ гнѣва, но который, впрочемъ, сейчасъ же оправился, тѣмъ болѣе, что Сонечка сказала:

— Что вы ломаетесь, Илья Петровичъ? И съ досадой, какъ бы про себя, прибавила: — Ей-Богу, надоѣло все это...

Иванъ Иванычъ замѣтилъ, что голосъ ея дрожалъ, точно отъ обиды.

Лозовскій ничего не отвѣтилъ, махнулъ рукой и вздохнулъ глубокимъ вздохомъ.

— Вотъ что, Сонечка, - сказалъ онъ послѣ паузы, — мнѣ надо съ вами поговорить въ

серьезъ. Вы извините, что я васъ «Сонечкой»... По старой памяти, знаете... Уму-разуму вѣдь два года училъ... Такъ ужь прикажите господину Чуфрину уйти, онъ лишній тутъ, по крайней мѣрѣ, сегодня...

— Да я вотъ и самъ собираюсь, — сказалъ Иванъ Иванычъ, уязвленный этимъ предложеніемъ и въ то же время повинуясь взгляду Сонечки, загорѣвшемуся какъ-то не то стыдливо, не то просительно.

— Простите, — сказала она, протягивая ему ласково руку, — приходите въ другое время, всегда рада, а теперь у насъ съ Ильей Петровичемъ что-то обострилось... Пожалуй, ссориться вотъ сейчасъ будемъ, — прибавила она съ улыбкой.

— Просто за чайкомъ потолкуемъ, — объяснилъ Лозовскій, расправляя плечо, точно послѣ гимнастики и нетерпѣливо посматривая на дверь

Иванъ Иванычъ ушелъ и сталъ въ передней надѣвать шубу и калоши. Лицо его горѣло. Онъ напрасно силился сообразить, какіе результаты можетъ дать сегодняшній его визитъ. Мысли его спутались, въ головѣ былъ сумбуръ. Чувствовалось только, что сдѣланъ какой-то шагъ, но назадъ или впе-

редъ, онъ не смѣлъ опредѣлить. Сердце его тревожно билось, руки дрожали.

Было темно. Горничная не показывалась, и выходъ изъ передней въ корридоръ едва можно было отыскать ощупью. Онъ долго возился тутъ.

Вдругъ гдѣ-то въ противуположномъ мѣстѣ отворилась дверь, и къ нему подошла спѣшнымъ шагомъ Сонечка. Онъ узналъ ее инстинктомъ, и притомъ сразу. И также инстинктивно и стремительно, объятый неизъяснимой радостью, протянулъ къ ней руки, и губы ихъ встрѣтились, и она прошептала, обжигая его этимъ шепотомъ:

— Милый, милый, люблю васъ крѣпко, ужасно люблю!

У него словъ не хватило, чтобъ отвѣтить, дыханье спирало. И опустившись на колѣни, въ восторгѣ, въ уничиженіи, онъ поцѣловалъ край ея платья. Онъ не спросилъ, какъ поступитъ она относительно Лозовскаго. Вопросъ этотъ внезапно упразднился и уже не представлялъ интереса. Вѣдь она же, эта дѣвушка, это божество, любитъ его, Ивана Иваныча, и никого больше, никого!

Онъ ушелъ, пьяный отъ счастья, и всю дорогу пѣлъ и свисталъ, точно подкутившій

мастеровой, и не вѣрилъ, чтобъ блаженство, будучи такимъ огромнымъ, могло переноситься такъ легко, и съ радостнымъ страхомъ ждалъ, что онъ изнеможетъ подъ его тяжестью, что оно его раздавитъ.

А снѣжная улица молчала. Одиноко вдали мигалъ фонарь, и тополи, чуть бѣлѣя, смотрѣли изъ сумрака ночи. И никогда міръ не казался Ивану Иванычу прекраснѣе и жизнь отраднѣе.

III

ВОСПОМИНАНІЯ Ивана Иваныча были прерваны на этомъ мѣстѣ появленіемъ Полины Марковны, наполнившей кабинетъ любимымъ своимъ запахомъ віолеттъ-де-пармъ, запахомъ, который и заставилъ его очнуться сразу, и даже вздрогнуть.

Молодая женщина была одѣта въ бѣлое платье. Въ маленькихъ ушахъ, плоскихъ и прижатыхъ къ большому черепу, сверкали бриллiантовыя сережки. Русая коса была тщательно сплетена и сложена на затылкѣ. Лицо было чуть-чуть присыпано пудрой, чтобъ скрыть багровыя пятна, — Иванъ

Иванычъ сейчасъ же увидѣлъ это, — а грудь, слегка декольтированная, согласно требованіямъ лѣтняго сезона, была украшена свѣжимъ розаномъ. Вообще, Полина Марковна была наряжена съ большимъ вкусомъ и производила своей цвѣтущей внѣшностью нѣкоторый эффектъ.

Иванъ Иванычъ не зналъ, какъ ему быть. Вчера еще онъ непремѣнно нахмурилъ бы брови, сдѣлалъ бы непривѣтливое лицо и брезгливо спросилъ бы: «вамъ что угодно, сударыня?» потому что до вчерашняго дня онъ былъ въ ссорѣ съ женой. Поссорился же онъ съ ней изъ-за Сонечки, мѣсяца черезъ два послѣ того, какъ эта дѣвушка призналась ему въ любви. Онъ плохо вѣрилъ, что Полина Марковна, разъ узнавши, что сердце его несвободно, согласится на разъѣздъ и первая предложитъ эту мѣру, какъ самую естественную въ данномъ случаѣ. И не ошибся. Когда, по требованію Сонечки, онъ все разсказалъ женѣ, то привелъ ее въ какое-то бѣшеное отчаяніе, выразившееся въ цѣломъ рядѣ невиданныхъ имъ дотолѣ нелѣпостей. Полина Марковна поблѣднѣла, схватила лампу и съ силой бросила ее на полъ, такъ что та разлетѣлась

въ дребезги, потомъ дико вскрикнула и упала на диванъ, лицомъ внизъ, и стала рыдать съ визгомъ и воемъ. Затѣмъ, вскочивши, сжала кулаки и стремительно направилась къ мужу, крича: «Подай мнѣ ее, подай мнѣ эту тварь, я разорву ее, я задушу ее». Но сама вскорѣ устыдилась своего крика, и скорбь ея стала тише, хотя, можетъ быть, острѣе и болѣзненнѣе; часъ просидѣла она безмолвно. Наконецъ, заключила обильными слезами, причемъ перемѣнила два носовыхъ платка и часто нюхала уксусную соль. Цѣлую недѣлю затѣмъ она не обмѣнялась съ мужемъ ни словомъ, но выходила къ обѣду, и если Ивана Иваныча не было дома, угрюмо ждала его, пока не простывалъ супъ. Тогда она приказывала все убирать, а когда Иванъ Иванычъ возвращался, опять накрывала столъ и, во время ѣды, вздыхала глубоко и протяжно. «Если это такъ будетъ вѣчно, думалъ Иванъ Иванычъ, то отчего же намъ и не разъѣхаться», и написалъ ей въ этомъ смыслѣ письмо, потому что побоялся личныхъ объясненій. Вообще онъ трусилъ жены, и чѣмъ больше трусилъ, тѣмъ больше не любилъ. Она, прочитавъ письмо, захотѣла, однако,

переговорить съ нимъ лично, и когда на вопросъ ея, серьезно ли это онъ, или можетъ быть такъ—можетъ быть, это временная прихоть молодаго мужчины, которую она, пожалуй, могла бы еще стерпѣть и простить,—онъ отвѣчалъ, что, конечно, серьезно, то она пожала презрительно плечами и произнесла: «ну, это посмотримъ!» И въ тонѣ, какимъ было сказано это, было столько самоувѣренности, столько, такъ-сказать, американскаго, что Иванъ Иванычъ почувствовалъ неопредѣленный страхъ, почти ужасъ, и, въ свою очередь, грубо закричалъ на жену, чего съ нимъ прежде никогда не случалось, и увѣрялъ ее, что даже изъ ада вырвался бы для Сонечки. Жена вела себя на этотъ разъ чрезвычайно сдержанно и заключила бесѣду фразой, что пока она видитъ только, какъ онъ губитъ дѣвушку, потому что въ городѣ всѣ уже объ этомъ говорятъ; шила вѣдь въ мѣшкѣ не утаишь. Онъ сознавалъ справедливость упрека, сознавалъ, что былъ неостороженъ, и въ отвѣтъ постучалъ только кулакомъ по столу, а жена саркастически улыбнулась и ушла. Конечно, онъ давно могъ бы бросить жену и уѣхать съ Сонечкой въ Петербургъ,

какъ это и было порѣшено между ними въ принципѣ; но мѣшали разныя обстоятельства, а главное—не было денегъ. Какъ ни презрительно относился онъ къ службѣ, однако сталъ хлопотать о переводѣ въ столицу, и одинъ важный баринъ написалъ ему, что, пожалуй, въ маѣ или іюнѣ для него очистится тамъ незначительное мѣстечко. Иванъ Иванычъ былъ и тому радъ и ждалъ назначеннаго срока, какъ манны небесной. Сонечка, съ своей стороны, медлила. Она поджидала поры экзаменовъ, когда уроковъ бываетъ особенно много и платятъ дорого, чтобъ собрать рублей полтораста—«себѣ на приданое», шутила она. Кромѣ того, оба ожидали съ горячимъ нетерпѣніемъ отвѣта изъ одной редакціи, куда послали большую поэму, совмѣстно сочиненную и озаглавленную: «Деревня». Поэма должна была принести, по крайней мѣрѣ, тысячу рублей. Однимъ словомъ, рѣшено было вмѣстѣ жить и вмѣстѣ уѣхать, но когда именно—никто изъ нихъ этого навѣрное не зналъ. Поэтому, когда Полина Марковна вдругъ сдѣлала визитъ Сонечкѣ и обошлась съ ней дружески, и даже поцѣловала, и затѣмъ предложила свои услуги по части сна-

ряженія бѣгства съ нею Ивана Иваныча, съ которымъ тоже круто измѣнила обращеніе и сдѣлалась привѣтлива и пріятельски-любезна, какъ сестра, то Иванъ Иванычъ сначала несказанно этому удивился, а потомъ и несказанно обрадовался. И вотъ какимъ образомъ состоялось его примиреніе съ Полиной Марковной. Раздумывая теперь, какъ ему быть съ нею, т.-е. отнестись ли къ ней, по старой памяти, какъ къ женѣ и лицемѣрно улыбнуться и даже поцѣловать у ней руку, или же запахнуть поспѣшно халатъ и сдѣлать сконфуженное лицо, какъ при посторонней дамѣ, онъ былъ смущенъ ея, очевидно, изысканнымъ, хотя и «простенькимъ» туалетомъ и затѣмъ пудрой, скрывавшей знакомыя пятна—признаки ея сильнаго душевнаго волненія. И потому, встревоженно взглянувъ на нее, онъ забылъ всякую политику и, даже не поздоровавшись, поспѣшно спросилъ, ожидая услышать что-нибудь непріятное:

— А что?

Полина Марковна сама протянула ему руку и, поднявъ брови, какъ бы въ минутномъ недоумѣніи, отвѣчала съ улыбкой:

— Ничего, другъ мой.

Она сѣла рядомъ, поправивъ платье и заложивъ ногу за ногу съ тѣмъ легкимъ оттѣнкомъ нѣсколько циническої непринужденности, какую позволяютъ себѣ при мужчинахъ только ихъ жены. Все это дало тонъ дальнѣйшей бесѣдѣ супруговъ.

Иванъ Иванычъ сказалъ, улыбаясь успокоенно:

— Когда ты вошла, мнѣ показалось, что ты хочешь сообщить мнѣ что-нибудь неожиданное и тревожное... У тебя видъ взволнованный...

— Я?—произнесла Полина Марковна и приложила платокъ къ лицу.—Нѣтъ, мой другъ. Но, конечно, я не могу же быть равнодушна. Но вотъ что: ты завтра рѣшительно уѣзжаешь? Или, можетъ быть, послѣ завтра?

И опять приложила платокъ къ лицу.

Иванъ Иванычъ почувствовалъ себя неловко. «Быть мужемъ, думалъ онъ, не будучи таковымъ de facto, ужасно странно». Сдѣлавъ лицо не то сострадательное, не то печальное, не то благодарное, онъ протянулъ съ лѣнивой улыбкой:

— Завтра - то, завтра... Непремѣнно завтра!

— Въ которомъ часу? Утромъ?—спросила жена.

— Утромъ.

— На тройкѣ?

— Да, на почтовыхъ.

— Съ колокольчикомъ?

— Вѣроятно,—произнесъ онъ съ усмѣшкой. И затѣмъ прибавилъ:—что, однако, за вопросъ?

Полина Марковна сдѣлала видъ, что не слышитъ этого замѣчанія. Мечтательно устремивъ глаза въ пространство, она начала:

— Мы тоже тогда съ колокольчикомъ ѣхали... Помнишь? Музыкальный былъ такой... И ты спалъ у меня на колѣняхъ. А голова у тебя была кудрявая, потому что я тебя сама завивала къ вѣнцу... Помнишь?

— Помню,—отвѣчалъ Иванъ Иванычъ съ нетерпѣливой гримасой, но сейчасъ же загладилъ дурное впечатлѣніе этой гримасы улыбкой.

Полина Марковна продолжала:

— Знаешь, я васъ сама хочу провожать. Понимаешь? Мнѣ кажется, это будетъ мило. Какъ ты думаешь?

— Дѣйствительно, это будетъ мило,—сказалъ Иванъ Иванычъ.—Вообще ты очень

милая женщина и твое великодушіе меня поражаетъ, тѣмъ болѣе, что знаю я, чего тебѣ это стоитъ...

Голосъ у него задрожалъ отъ избытка благодарнаго чувства, хотя въ то же время не могъ онъ отдѣлаться и отъ чувства опасливости въ присутствіи жены, которое вдругъ выросло, когда она въ отвѣтъ взяла его за руку и наклонилась къ нему любовно.

— Милый мой мальчикъ,—сказала нѣжно Полина Марковна:—нѣтъ жертвы, которой я не принесла бы для тебя! Клянусь тебѣ! Все тебѣ готова отдать. Вотъ теперь отдаю тебѣ свою жизнь—потому что мнѣ жизнь безъ тебя могила. Сердце мое умретъ. А безъ сердца что за жизнь? Но отдавая тебѣ все, конечно, не безъ борьбы,—я радуюсь, потому что ты будешь счастливъ... Слышишь, радуюсь!

И она еще больше наклонилась къ нему, такъ что голова ея уперлась въ его плечо, а влажные глаза искали его взгляда. Онъ улыбнулся ей, потому что былъ благодаренъ и понималъ, что гнать ее отъ себя сухимъ обращеніемъ было бы безжалостно наканунѣ такого событія, которое осуществлялось, преимущественно благодаря ея нео-

жиданной безкорыстной помощи (она дала ему денегъ). Однако, чувство опасливости росло въ немъ. И улыбнувшись, онъ поспѣшилъ перевести взглядъ съ жены на портретъ Сонечки, висѣвшій прямо на стѣнѣ.

— Милый мой, — продолжала Полина Марковна, ласкаясь къ нему все больше и больше: — хочу я тебя о чемъ-то попросить...

Онъ сдѣлалъ широкіе глаза и сердце его застучало.

— О чемъ? — спросилъ онъ съ боязнью и тоской.

— У меня есть теперь девятьсотъ рублей, — сказала Полина Марковна, конфузливо опуская глаза, — возьми у меня ихъ въ дополненіе къ тѣмъ тремъ сотнямъ, что взялъ на дорогу. Возьми, душоночекъ! Вамъ понадобятся съ Сонечкой. Придется дѣлать обстановку, а тамъ въ Петербургѣ все дорого... Возьми!

Ему сдѣлалось совѣстно, но сердце его перестало стучать. Лицо просіяло.

— Нѣтъ, спасибо тебѣ, милая, но мы больше не возьмемъ... Такихъ денегъ скоро не отдать, а взять ихъ такъ — является

вопросъ, не похоже ли это ужъ на грабежъ? Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, спасибо!

— Возьми!

— Нѣтъ.

— Возьми, милый!

— Нѣтъ и нѣтъ! — сказалъ онъ рѣшительно, хотя и подумалъ: «а кушъ хорошій!» и можетъ быть, именно потому и отвѣтилъ такъ рѣшительно: «нѣтъ».

Тогда Полина Марковна неожиданно подкрѣпила свою просьбу поцѣлуемъ. Это его опять напугало. «Неужели ей надо отдать поцѣлуй?» спросилъ онъ себя мысленно. «Очень двусмысленное положеніе... Не поцѣлую!» И нахмурился. Но Полина Марковна не обратила на это вниманія и сама нѣсколько разъ поцѣловала его въ губы и щеки. Онъ привсталъ, крѣпко пожалъ ей руку, въ знакъ того, что поцѣлуи неумѣстны, а имѣетъ мѣсто только дружба, и подумалъ съ облегченіемъ: «кажется, поступилъ съ тактомъ». Полина Марковна сдѣлала грустное лицо, вздохнула и сказала:

— Ну, какъ знаешь, Ваня. Вѣрь, что мнѣ не жалко. Но, можетъ быть, Сонечка возьметъ.

— Нѣтъ, и Сонечка не возьметъ... За-

чѣмъ намъ? — сказалъ онъ. — Обстановокъ мы заводить не будемъ. Тамъ новой жизнью совсѣмъ заживемъ! Нѣтъ, не нужно, Павличка...

Полина Марковна ничего не отвѣтила и продолжала сидѣть на диванѣ. Иванъ Иванычъ смотрѣлъ въ окно, въ садикъ, гдѣ курица копошилась въ грядкѣ съ цвѣтами, и все думалъ: «ахъ, когда-бы ужь скорѣе, мучительно ждать!» И этакимъ манеромъ, въ молчаніи, прошло минутъ пять, можетъ быть, и больше. Онъ слышалъ, какъ прошумѣли юбки, и Полина Марковна вышла изъ кабинета, но не повернулъ головы. А когда потомъ опять пересѣлъ на диванъ, чтобъ продолжать мечтать, — все, конечно, о Сонечкѣ, — то увидѣлъ на полу истрепанный и изгрызенный цвѣтокъ, украшавшій только-что бюстъ Полины Марковны.

IV

МЕЧТЫ и воспоминанія Ивана Иваныча перестали теперь развиваться последовательною цѣпью, и выныряли только сцены особенно яркія и милыя. Все это еще было такъ недавно, что казалось настоящимъ. Звуки милыхъ рѣчей жили вокругъ него, какъ живутъ для любителя музыки лучшія мѣста концерта, пока онъ возвращается изъ театра домой и затѣмъ пока ляжетъ и заснетъ. Воспоминанія вспыхивали непрерывно, брежжа точно лучи свѣта, и загорались плѣнительные образы, мерцали картины, одна другой краше. Никакого усилія для этого не надо было дѣлать,

никакого напряженія ума. Все совершалось само собой, невольно.

Вспомнилась ему, между прочимъ, первая его прогулка съ Сонечкой за-городъ.

Была ранняя весна, и уже въ началѣ марта рухнулъ снѣгъ, и на улицахъ и въ оврагахъ зажурчали и запѣнились ручейки. День былъ ясный, солнечный, и небо было синее-синее, въ бѣлыхъ серебристыхъ облакахъ. Откуда-то вѣяло тепломъ, жизнетворнымъ и освѣжающимъ, и кричали птицы въ радостной тревогѣ, и вообще было хорошо. Иванъ Иванычъ, какъ школьникъ, скрылъ отъ жены, что идетъ за-городъ, надѣлъ коротенькую бекешку, синюю на ватѣ и съ выпушкой изъ черныхъ барашковъ, длинные сапоги (все потихоньку отъ жены), взялъ пледъ и вышелъ. Онъ чувствовалъ себя отлично, и походка у него была свободная и даже граціозная, какъ у человѣка счастливаго тѣмъ, что его любятъ, между прочимъ, и за наружность. Сонечка медленно шла по огромной площади, что передъ богоугоднымъ заведеніемъ, и улыбнулась ему издали, и остановилась, поджидая его. У него сердце забилось сильно, и онъ ускорилъ шагъ. А когда подалъ ей ру-

ку, то самъ улыбнулся, и глаза его сіяли, и на щекахъ игралъ румянецъ, какъ и у Сонечки. Она спросила:

— Куда же?

Онъ въ отвѣтъ кивнулъ головой вдаль, и подалъ ей руку, и ему было несказанно пріятно, когда дѣвушка, не распрашивая больше, пошла рядомъ съ нимъ. Теперь онъ не робѣлъ, какъ тогда, зимой, а зналъ, что идетъ съ нею по праву взаимной любви, и это маленькое довѣріе къ нему — «ведите-молъ, куда хотите, мнѣ вездѣ будетъ хорошо съ вами» — служило, казалось ему, прямымъ доказательствомъ этой любви. И такимъ образомъ они шли по площади, въ діагональномъ направленіи, и стали вдругъ разговаривать о веснѣ, о томъ, что она наступила у жасно рано и, можно сказать, неожидачно. Широко раскрывъ глаза, они смотрѣли кругомъ съ восхищеніемъ, и подъ талымъ снѣгомъ имъ чудились почки цвѣтовъ, готовыя распуститься; въ воздухѣ точно носился уже ароматъ тѣхъ цвѣтовъ. Разговоръ о веснѣ былъ, въ сущности, разговоромъ о томъ, какъ они неожиданно полюбили другъ друга, — по крайней мѣрѣ, онъ свелся къ этому. Иванъ Иванычъ вспом-

нилъ, что въ прошломъ году, встрѣтивъ въ казенномъ саду Сонечку, сравнилъ ее мысленно съ уходящей отъ него весной, и разсказалъ ей теперь это. Она разсмѣялась, но замѣтила, что ей нравится, что онъ поэтъ. А онъ, улыбаясь, отвѣтилъ, что разъ полюбишь Сонечку, поневолѣ сдѣлаешься поэтомъ. И оба опять разсмѣялись, довѣрчиво и любовно глянувъ другъ другу въ глаза.

Между тѣмъ кончилась площадь, и они пошли по дорогѣ, гдѣ на откосѣ было уже совсѣмъ сухо, мимо рѣшетчатой ограды, изъ-за которой смотрѣли на нихъ и ухмылялись желтолицые душевно-больные, въ колпакахъ и халатахъ. Они тоже гуляли. За богоуднымъ заведеніемъ потянулись новенькіе домики по обѣимъ сторонамъ шоссе, которое блестѣло подъ лучами солнца, само прямое, какъ лучъ. Телеграфные столбы терялись въ свѣтлосизой дали. Открылся горизонтъ, и вонъ направо чернѣетъ рѣка, недвижно лежащая въ своихъ бѣлыхъ еще берегахъ. Завтра она, можетъ быть, тронется. За нею лѣсъ кудрявится, какъ растрепанная тучка, и тоже ждетъ-не дождется пробужденія. Направо мягкими

волнистыми линіями уходитъ поле въ необозримую даль, мѣстами черное. Такія же черныя пятна и возлѣ телеграфныхъ столбовъ, и вокругъ деревьевъ, что выстраиваются въ двѣ линіи надъ шоссейными каналами, въ которыхъ подъ рыхлымъ снѣгомъ уже реветъ и шумитъ грязная вода. Вѣтеръ свѣжѣе, чѣмъ въ городѣ, но все-таки тепло, очень даже тепло, и ожили какія-то золотыя мушки, и вотъ сейчасъ одна изъ нихъ сѣла Сонечкѣ на щеку.

Любуясь примѣтами весны, Иванъ Иванычъ, однако, главнымъ образомъ не сводилъ глазъ съ дѣвушки. Разговаривая, онъ все смотрѣлъ на нее, иногда пристально до неприличія. Въ ея лицѣ есть что-то необычайно привлекательное, и онъ хотѣлъ опредѣлить что́ именно. Эту задачу онъ себѣ уже много разъ задавалъ и всегда рѣшалъ въ томъ смыслѣ, что тайна Сонечкиной обаятельности заключается прежде всего въ ея глазахъ. Онъ и теперь пришелъ къ этому рѣшенію, но замѣтилъ, что въ выраженіи этихъ удивительныхъ глазъ, свѣтло-голубыхъ съ синими искорками, добрыхъ и открытыхъ, и умныхъ, и проницательныхъ,— такихъ что никакъ не солжешь подъ ихъ

взглядомъ, есть еще что-то особенное, похожее и на грусть, и на рабость, точно Сонечка или постоянно носитъ съ собою воспоминаніе о чемъ-нибудь печальномъ и горькомъ, или ждетъ какой-нибудь бѣды, безсознательно ждетъ, потому что угадываетъ ее своими тонкими нервами, своимъ женскимъ инстинктомъ. Это открытіе встревожило его. Сонечка замѣтила его тревогу, прервала разговоръ и вопросительно взглянула на него. Но онъ сказалъ, что «ничего, миленькая», и не сталъ разспрашивать, потому что считалъ неделикатнымъ. Къ тому же, бесѣда вскорѣ приняла такое направленіе, что Сонечка сама рѣшилась, по собственному почину, разсказать «всю свою подноготную», какъ она выразилась, и ему показалось, когда онъ выслушалъ ея автобіографію, что онъ нашелъ ключъ къ объясненію грустно-боязливаго оттѣнка выраженія ея глазъ. Эта автобіографія была разсказана, когда они уже достаточно далеко ушли за городъ и свернули въ сторону, такъ что, разостлавши пледъ, могли присѣсть на склонѣ обрыва, внѣ поля зрѣнія идущихъ и ѣдущихъ по шоссе.

V

РАНО стала помнить себя Сонечка. Она бѣгала по дорожкамъ сада съ какими-то маленькими дѣвочками, чумазыми и въ посконныхъ рубашкахъ, возила колесики, давала мужичку по «грошику» за то, чтобъ сдѣлалъ новыя. Въ домѣ тогда было много солнечнаго свѣта, и вообще все раннее дѣтство ея представлялось ей непрерывнымъ весеннимъ днемъ. Огромныя собаки и куры, какихъ потомъ никогда не приходилось ей видѣть, ходили по зеленому двору, и гуси шипѣли необыкновенно страшно, вытягивая свои упругія шеи по направленію къ Сонечкѣ, такъ что

она съ крикомъ убѣгала отъ нихъ. Кабанъ, котораго убили къ празднику, поразилъ ее своими размѣрами, и она, глядя на это чудовище, жалась къ матери, а та говорила нѣжнымъ и мелодичнымъ шепоткомъ:

— Не бойся, дѣточка, не бойся... И играла ея волосами.

По временамъ пріѣзжали какіе-то люди, огромные, съ дымящимися чубуками, съ красными лицами и черными усами, обѣдали, пили, что-то писали мѣломъ на зеленомъ столѣ и смотрѣли въ карты, изъ которыхъ потомъ няня Агафья дѣлала Сонечкѣ санки и вырѣзывала коньковъ. Эта нянька умѣла говорить сказки о Жаръ-Птицѣ, Иванѣ Царевичѣ, Бабѣ-Ягѣ Костяной-Ногѣ, и Сонечка любила ее, а иногда капризничала и бивала ее ногами, на что Агафья ласково только замѣчала, уклоняясь отъ ударовъ:

— Ахъ, баловница...

Кромѣ няньки, отъ которой періодически пахло водкой и которую тогда куда-то усылали, причемъ папаша, небольшаго роста блондинъ, кричалъ и ругался, — были и другія слуги. Была Грунька Рябая-форма, толстая дѣвка, съ добрымъ, испорченнымъ оспою лицомъ и огненными волосами, и

Машка Аршинъ, высокая красивая брюнетка, съ чахоточнымъ румянцемъ на бѣлыхъ щекахъ и костлявыми плечами. Всѣ онѣ ужасно боялись папаши, и изъ ихъ бесѣдъ Сонечка заключила, что на свѣтѣ существуетъ конюшня, страшное мѣсто, гдѣ тиранятъ слугъ ни за что, ни про что...

Мало-по-малу страхъ, питаемый слугами къ ея отцу, сообщился и ей, и въ его присутствіи она затихала, становилась застѣнчивой, что ему очень нравилось, и онъ говорилъ, обращаясь къ женѣ:

— Вотъ посмотри, Зиночка. Вотъ всѣ меня боятся. Бровью поведу — и боятся. Но отчего ты такая, что на тебя никто не обращаетъ серьезнаго вниманія? Даже этотъ пузырь — и тотъ тебя въ грошъ не ставитъ... Слышишь? Почему это?

— Ахъ, Поль, — отвѣчала мамаша: — ты мужчина...

И поднимала на него глаза, и улыбалась кроткой улыбкой.

— Поль, ты не думай, впрочемъ, — говорила она, — я ее сѣку... когда она заслуживаетъ этого...

— Травинкой! Нѣтъ, ты ее розгой! —

замѣтилъ папаша и, однажды, подойдя къ Сонечкѣ, сдѣлалъ такіе глаза, что та затряслась.

— Ты зачѣмъ, — крикнулъ онъ, — часы мои трогала? Говори сейчасъ? Зачѣмъ?

— Я не трогала...

— Ты лгать? Эй, подайте мой ремень!

— Поль! — произнесла мамаша.

Папаша затопалъ ногами.

— Не мѣшайся, матушка! Позволь мнѣ хоть часъ заняться воспитаніемъ этого волченка. Она вретъ. Кромѣ нея, никто не могъ. Такъ ты не трогала?

Крупныя слезы закапали изъ глазъ Сонечки.

— Нѣтъ, ей-Богу...

Папаша ударилъ ее по спинѣ. Дѣвочка заплакала. На блѣдномъ лицѣ мамаши изобразился ужасъ. Глаза ея широко раскрылись, она упала на колѣна и протянула къ мужу руки.

— Поль! — прохрипѣла она съ мольбой.

Онъ яростно посмотрѣлъ на нее покраснѣвшими глазами, плюнулъ, махнулъ рукой и вышелъ, а мамаша бросилась цѣловать Сонечку, которая въ первый разъ узнала, что такое несправедливость, потому что къ

часамъ и близко не подходила. Мамаша, въ концѣ-концовъ, утѣшила ее, подаривъ ей коробку изъ-подъ сюргуча, а вечеромъ Машка Аршинъ жгла на сальной свѣчкѣ сахаръ и капала имъ затѣмъ на синюю бумагу, такъ что выходили превкусные черно-желтые цвѣточки и птички; Агафья же сказала новую сказку, заинтересовавшую даже Груньку. Сонечка крѣпко и сладко спала въ ту ночь...

Но страхъ къ отцу выросъ въ ней. И когда онъ изрѣдка цѣловалъ ее,—напримѣръ, въ дни имянинъ и большихъ праздниковъ, причемъ лицо его было гладко выбрито и отъ него пахло виномъ, — глазки ея пугливо метались, и слезы готовы были брызнуть изъ нихъ.

— Медвѣженокъ, волченокъ! Кукла! Пзрь! — ласкался къ ней отецъ, сжимая губы и уставляясь въ ея грудь лбомъ на подобіе барана.

— Ахъ, Поль! — блаженно улыбалась тогда мамаша.

Проходили между тѣмъ мѣсяцы, годы. Опытнѣе становилась Сонечка. Поочередно смѣнялись дѣтскія радости и восторги дѣтскими скорбями и страданіями. Странно, что она не помнила, какъ выучилась гра-

мотѣ. Должно быть, это далось ей легко. Осталось только воспоминаніе о томъ, какъ она, при помощи Машки, впервые написала на бумагѣ имя матери: «Зинада» вмѣсто «Зинаида», и какъ та бросилась обнимать ее и обкормила вишневымъ вареньемъ. Отецъ сейчасъ же взялъ дѣвочку подъ свою опеку, и началось скучное и мучительное зубреніе таблички умноженія, изъ которой одно только и выучивалось: «пятью пять двадцать пять, пятью шесть тридцать», молитвъ, «Вѣрую» и другихъ, устрашавшихъ своею непостижимостью, писаніе палочекъ, ноликовъ и, въ концѣ-концовъ, — слезы, слезы и слезы. Потому что папаша серьезно взялся за воспитаніе дочери, билъ ее линейкой по рукамъ, которыя краснѣли и саднѣли отъ щемящей боли, рвалъ за уши, запиралъ въ своемъ кабинетѣ, рѣдко выпускалъ гулять и задавалъ трудные уроки, напирая, главнымъ образомъ, на катехизисъ и грамматику Востокова, съ ея безконечными исключеніями объ именахъ, кончающихся въ единственномъ числѣ на *енокъ* и имѣющихъ во множественномъ *ята*, и другихъ мудреныхъ вещахъ.

Весь міръ тогда для Сонечки дѣлился на

двѣ рѣзко разграниченныя половины. Въ первой жилъ папаша. Онъ самъ прибиралъ по утрамъ въ кабинетѣ, раскладывалъ въ порядкѣ всѣ вещи, чтобы карандаши лежали налѣво отъ чернильницы, а перья направо, и при этомъ губы его торопливо шевелились, вышептывая молитвы, а грудь, по временамъ, поднималась и падала отъ религіознаго напряженія. Онъ былъ одѣтъ въ грязно-желтенькую фланель съ синими каемочками. Эта маленькая коренастая фигура, молящаяся и сметающая со всѣхъ предметовъ пыль гусинымъ крыломъ, наводила страхъ на домочадцевъ, и всѣ молчали въ домѣ, всѣ ходили на цыпочкахъ, не смѣя проронить слова, потому что никогда не бывалъ папаша такъ лютъ, какъ въ эти утренніе часы общенія его съ небомъ.

Одна ужасная сцена особенно рѣзко запечатлѣлась въ памяти Сонечки.

Папаша пріѣхалъ поздно ночью и сообщилъ мамашѣ, что «графъ» прислалъ письмо, съ приложеніемъ жалобы крестьянъ на него, Свенцицкаго, что онъ, будто, добра господскаго не жалѣетъ, лѣсъ тайно продалъ, а мужиковъ и бабъ тиранитъ, и прочее.

— Неужели, Поль? — спросила мамаша тревожнымъ шепотомъ.

— Что «неужели»? — недовольнымъ тономъ спросилъ папаша, потомъ сказалъ сквозь зубы:

— У графа этого и красть нечего... Хорошъ графъ отъ ста душъ! А лѣсъ цѣлъ, хотя, конечно, подчищенъ... Нельзя же не чистить...

— Поль, — спросила мамаша трепеща: — что еще графъ пишетъ? Вѣдь не отказываетъ?

— Вотъ еще! Конечно, нѣтъ...

— Такъ чего-жь тебѣ безпокоиться?

— Не твое дѣло, Зиночка, — строго замѣтилъ папаша.

Сонечка, спавшая, въ отсутствіе папаши, въ мамашиной спальнѣ, спрятала голову подъ одѣяло, боясь, что ее увидятъ. Она стала повторять мысленно урокъ о томъ, что «Единъ Богъ во святой Троицѣ», спуталась, заснула и проснулась рано въ сильномъ страхѣ. Первымъ движеніемъ ея было одѣться и взяться за книжку. Она думала, что въ домѣ еще спятъ и она успѣетъ подучить урокъ. Но уже всѣ встали, хотя сумракъ наполнялъ комнаты, сгущаясь по угламъ и въ складкахъ портьеръ, и странно

сливаясь съ трепетнымъ свѣтомъ, разливаемымъ тамъ и сямъ огарками. Мамаша сидѣла у окна, въ своемъ огромномъ креслѣ, и точно замерла. Глаза ея были широко раскрыты, и тонкія блѣдныя руки ея какъ-то безучастно скользнули по головкѣ и плечамъ подбѣжавшей къ ней дѣвочки, а губы беззвучно сказали:

— Тише, дѣточка...

Сонечка юркнула въ дѣтскую. Нянька сидѣла, насупившись, блѣдная, и изъ-подъ коричневаго платка на морщинистую шею выбивались серебристыя косички и дрожали. Грунька безсмысленно смотрѣла въ уголъ. Лицо ея точно вспухло, красное-красное, а подъ однимъ глазомъ выступало багровое пятно. Сонечка сейчасъ же поняла, что это папаша сдѣлалъ, а за что — вопросъ этотъ ей не пришелъ на умъ. Только ужасъ сковалъ ее. Въ домѣ творится что-то необычное, одно было ясно. Вотъ и теперь изъ кабинета доносятся мѣрные звуки папашина голоса, а это скверный знакъ, потому что папаша въ самые высокіе моменты своей лютости всегда спокоенъ и почти кротокъ. Такая у него черта, хотя бываетъ, что онъ и кричитъ, и шумитъ, но то уже не такъ

страшно. Жгучее любопытство стиснуло грудь Сонечки. Дрожа, въ одной рубашонкѣ, она пробралась изъ дѣтской въ темный коридорчикъ, заваленный мотками нитокъ и крестьянскими полотнами, потомъ въ столовую, гдѣ висѣла голова лося съ вѣтвистыми рогами, потомъ въ переднюю, шмыгнула мимо беззаботно дремавшаго на лавкѣ папашина любимца Ваньки Беззубаго (ему еще самъ «графъ» зубы выбилъ) и, наконецъ, прильнула къ замочной скважинѣ.

Кабинетъ былъ убранъ. Папаша смахивалъ съ краснаго сукна, которымъ былъ покрытъ его письменный столъ, послѣднюю пыль. Одѣтъ онъ былъ, по обыкновенію, въ свою фланелевую куртку, съ которой не разставался ни зимою, какъ теперь, ни лѣтомъ. Глаза его обращались къ кіоту, освѣщенному лампадой, и губы такъ быстро шептали «Отче нашъ», что Сонечкѣ онѣ показались одаренными самостоятельной жизнью, тѣмъ болѣе, что онъ вдругъ сказалъ, повернувшись къ дверямъ, мѣрнымъ, пронзающимъ голосомъ:

— Почеркъ твой. На селѣ никто, кромѣ тебя, не знаетъ грамотѣ. Писано моими чернилами. Мои чернила красноватыя, такими и къ графу писано. Да моя бумага тоже.

У меня почтовая бумага въ косой клѣткѣ, въ Кіевѣ куплена. Такой здѣсь ни у кого не достанешь, ни у попа, ни у жида. Признавайся, ты писала?

Сонечка глянула въ сторону и увидѣла Машку, которая стояла недалеко отъ дверей на низенькой деревянной табуреткѣ, поднявъ кверху худыя руки, обнаженная по поясъ. Бѣлые бока ея, съ выдавшимися ребрами, были изборождены темными полосами, а наклоненное лицо, на которое падалъ свѣтъ отъ лампадки, смягченный сумракомъ угрюмаго зимняго утра, было блѣднѣе бумаги, и, вмѣсто глазъ, виднѣлись черныя тѣни. Слезы не катились по щекамъ. Полураскрытыя губы не шевелились.

«Отче нашъ иже еси»... — раздался шепотъ папаши и затѣмъ свиснулъ въ воздухѣ ремень, разъ и другой, и Машка слегка покачнулась на своемъ табуретѣ, но не издала ни звука.

— Скажи-жъ ты мнѣ, голубочка,—началъ опять папаша, шагая по кабинету и посматривая на дѣвку злыми глазами: — чего ты надѣялась отъ этого письма? Развѣ неизвѣстно тебѣ и всѣмъ хамамъ и хамкамъ,

вродѣ тебя, что графъ первый мой пріятель и наплюетъ на всѣ ваши жалобы? Говори!

Машка молчала. Сонечка не дождалась, чѣмъ кончится на этотъ разъ упорство дѣвки. Головка ея горѣла, а руки и ноги были холодны какъ ледъ, зубы стучали. Ей было стыдно и мучительно страшно, и она чуть не крикнула, захлебываясь отъ яростнаго, мстительнаго чувства, но не крикнула—не посмѣла, испугалась и побѣжала назадъ. Что это за борьба такая, что за безумная трагедія разыгрывалась тогда въ кабинетѣ папаши? Откуда эта покорность въ Машкѣ, которая повинуется, когда ей приказываютъ стоять, поднявши руки, и что означало это молчаніе, горделивое и презрительное, потому что вѣдь она не плакала, не кричала,— лишь вздыхала иногда, медлительно и глубоко? Сонечка задавала себѣ эти вопросы уже позднѣе, а тогда она ихъ только почувствовала, да и то неясно, точно сквозь слезы. Прибѣжавъ къ матери, она спрятала голову въ ея колѣни и, цѣлуя ея руки, стала упрашивать вступиться за Машку Аршинъ.

— Мамочка, мнѣ совѣстно! — кричала

она: — онъ ее бьетъ, а она молчитъ, и кровь идетъ! Мамочка!

— Тише, дѣточка! — сказала мать, прижимая ее къ груди, — вѣрно, Машка заслужила... Папаша даромъ не станетъ... Тише, пожалуйста!

— Мамочка, она письмо къ графу написала, онъ за это ее бьетъ!.. Мамочка, ради Бога! — кричала Сонечка подавленнымъ голосомъ, вся въ слезахъ.

Мамаша сдѣлала серьезное лицо.

— Вѣрно, еще сѣчь будутъ, — произнесла она, волнуясь, точно въ лихорадкѣ, — а мы, дѣточка, не поможемъ. Лучше не будемъ сердить папашу... Ай, дѣточка, тише!

Машку дѣйствительно высѣкли и потомъ куда-то отправили. Прощаясь, она поцѣловала Сонечку и, сверкая темными глазами, прошептала дрожащими губами на ухо Агафьѣ, что у ней уже заготовлена бумага «до самого царя», на что старуха испуганно замахала на нее рукой и взглядомъ указала на Сонечку...

Другая половина міра представлялась Сонечкѣ не только не такой мрачной, но даже радостной и сіяющей. Значительную долю его наполняла мамаша, съ ея скромными

чепчиками, между которыми былъ и парадный (съ золотыми колосьями), съ ея разнообразнѣйшими вареньями и соленьями, съ ея тихими пѣсенками, обрывки которыхъ долго звучали въ ушахъ Сонечки и, быть можетъ, будутъ звучать всю ея жизнь, съ ея примѣтами и вѣрою въ дурной глазъ и наговоръ, съ ея удивительнымъ незлобіемъ и покорностью судьбѣ. Мамаша возила Сонечку по праздникамъ въ церковь. Отецъ Павелъ, въ сверкающей ризѣ, тряся остренькой бородкой, уронивъ въ изнеможеніи руки и вперивъ глаза въ самую верхушку иконостаса, горѣвшую въ голубоватомъ столбѣ солнечнаго свѣта, читалъ молитвы умирающимъ голосомъ, а мамаша набожно крестилась. Пальцы ея долго останавливались на лбу, а затѣмъ уже, быстрѣе, переходили на перси и плеча, и губы ея улыбались въ экстазѣ. Сонечка подражала мамашѣ, слѣдила за движеніями ея руки, и точно такъ-же притискивала пальцы ко лбу и точно такъ-же улыбалась, сожалѣя только, въ душѣ, что на ея шляпкѣ нѣтъ бѣленькихъ цвѣточковъ на тоненькихъ проволочныхъ стебелечкахъ, и они не дрожатъ, какъ у мамаши. Когда діаконъ кадилъ въ ихъ сторону и кла-

нялся, онѣ тоже кланялись, причемъ Сонечка конфузилась и у ней выступалъ румянецъ, потому что діаконъ былъ незнакомый человѣкъ. По возвращеніи изъ церкви, Сонечка съѣдала мамашину просфору, иногда обмакнувъ ее въ густыя сливки или намазавъ масломъ, и потомъ читала вслухъ евангеліе или житіе какого-нибудь святаго или святой.

Этихъ житій, грубо напечатанныхъ отдѣльными московскими книжечками, на сѣрой бумагѣ и съ суздальскими гравюрами, чрезвычайно занимавшими Сонечку, было у мамаши многое множество. Она покупала ихъ у заѣзжихъ разносчиковъ. Мало-по-малу, Сонечка ознакомилась съ разными интимными сторонами жизни святыхъ. Она узнала, что святому Антонію являлся врагъ человѣческій (онъ же князь тьмы) въ образѣ нагой прелестницы, а Марія Египетская ходила по воздуху, когда, наконецъ, отмолила свои грѣхи. Были святые, которые единымъ словомъ укрощали львовъ и гіенъ, воскрешали мертвыхъ, излечивали отъ трудныхъ болѣзней. Были такіе, что по тридцать лѣтъ не сходили съ одного мѣста, подобно Симеону Столпнику, вростали въ землю, ѣли по прос-

фиркѣ въ день и нещадно били себя, носили вериги, не говорили ни слова, какъ напримѣръ Іоаннъ Молчальникъ, изумляя всѣхъ лютой суровостью своего подвига. Были мученики и мученицы, которыхъ жгли, кололи, стругами, рѣзали, а они все прославляли Христа и, наконецъ, умирали, созерцая разверстыя небеса. Сонечка могла тогда разсказать многое изъ житій этихъ угодниковъ Божіихъ, и такъ настраивалась, что когда чувствовала за собой какой-нибудь грѣхъ, то, ложась въ постель, трепетала, потому что боялась найти подъ одѣяломъ врага человѣческаго, съ хвостомъ, рогами и огромнымъ улыбающимся ртомъ, какъ это случилось однажды съ преподобнымъ Иларіономъ.

На половинѣ мамаши иногда собирались бѣдныя дворянки-сосѣдки, и Сонечка любила ихъ общество, играла съ ними въ короли, слушала ихъ сказки, которыя были занятнѣе и вычурнѣе Агафьиныхъ, и влюблялась то въ ту, то въ другую, такъ-что, бывало, слѣдомъ ходитъ за любимицей и при этомъ во всемъ ей подражаетъ—такъ-же кашляетъ, дѣлаетъ глаза, измѣняетъ голосъ, улыбается, гримасничаетъ.

Лѣтомъ, въ особенности въ отсутствіе папаши, Сонечка часто навѣдывалась въ садъ и бѣгала тамъ по заросшимъ дорожкамъ и оврагамъ, какъ дикарка. Ей нравился зеленый сумракъ старыхъ деревьевъ, ихъ гулкій шумъ, безпорядочный крикъ птицъ.

«О чемъ кричатъ эти птицы?» шевелился въ ея душѣ неясный вопросъ, и она широко раскрывала глазенки, прислушиваясь къ этому говору природы, дышавшей на нее медовымъ запахомъ липы, сочной зеленой травы, сыростью перегнивающихъ на землѣ листьевъ, подъ которыми, если отвергнуть ихъ, бѣгаютъ крохотныя козявочки, извиваются червячки, страшные и нестрашные, или ползутъ паучки, красные какъ кровь. На прудѣ, затянувшемся у крутаго берега ряской, плаваютъ, среди широкихъ плоскихъ листьевъ, цвѣты, точно бѣлыя звѣздочки, душистые и яркіе. «Хорошо бы нарвать этихъ цвѣтовъ», думала Сонечка и жадно смотрѣла внизъ на прудъ, не смѣя войти въ него, потому что папаша строго-на-строго запретилъ это дѣлать, съ тѣхъ поръ какъ утонула здѣсь Грунька Рябая-Форма. «Ахъ, Груня, зачѣмъ ты утонула», упрекала ее тогда Сонечка. Прудъ наводилъ ее на грустныя мысли.

Отъ него вѣяло чѣмъ-то тоскливымъ, чужимъ. А однажды, когда лягушки уныло тянули свою односложную пѣсенку, ей ясно послышался чей-то плачъ, тамъ, въ густомъ камышѣ, гдѣ въ прошломъ году былъ выводокъ дикихъ утенятъ. Сонечка подумала: «Это Груня плачетъ» и убѣжала съ крикомъ. Дома она разсказала объ этомъ мамашѣ, и мамаша нашла, что дочь, пожалуй, права, такъ какъ Грунька умерла безъ покаянія.

— Не ходи, дѣточка, близко пруда, — сказала она затѣмъ опасливо и перекрестила Сонечку.

Когда вечеръ спускался на землю, и въ его желтоватомъ сумракѣ тонули дали, Сонечка забиралась въ мезонинъ и садилась у открытаго окна. Передъ ней лежалъ садъ, мрачный, огромный, и тихо дышалъ, засыпая. Онъ уходилъ подъ гору, теряясь въ оврагѣ, откуда поднималась сизая дымка тумана. На-право темнѣла деревня, съ облакомъ розовой пыли надъ нею, полная вечернихъ звуковъ — мычанія коровъ, блеянія овецъ, бреха собакъ и звонкаго крика бабъ. На-лѣво бѣлѣла церковь, окруженная вѣн-

комъ деревьевъ, облитая догорающимъ блескомъ закатывающагося солнца. Прямо, за оврагомъ, растилалось поле, необозримое, мягко сливающееся гдѣ-то далеко-далеко съ палевымъ небомъ. И кротостью, миромъ вѣяло отъ этихъ картинъ.

Но вотъ загорались звѣзды въ потемнѣвшемъ небѣ. По словамъ мамаши и Агафьи, это были свѣчки, которыя держали въ рукахъ хороводы ангеловъ. Какъ ласково мигали эти разноцвѣтные брильянтовые огоньки, и какъ нѣжно дула ночь въ лицо Сонечки, точно надъ нею парили крылья тѣхъ незримыхъ существъ! А въ саду было тихо. Недвижно стояли деревья и спали. Спала деревня. Спала церковь, бѣлая, какъ привидѣнье.

Дѣйствительность и сказка сливались тогда для Сонечки, въ эти часы ея дѣтскаго созерцанія, въ одинъ міръ, волшебный и странный. Она мечтала. И фантазія ея была безгранична. Она часто воображала себя маленькой царевной съ золотой короной на головѣ. Она строитъ мамашѣ хрустальный дворецъ и заставляетъ служить ей умныхъ птицъ, съ бирюзовыми хвостами и яхонтовыми глазами. Когда тѣ не заняты службой,

то поютъ, какъ пѣвчіе. Ангелы бываютъ въ гостяхъ у Сонечки и дарятъ ей цѣлыя пригоршни звѣздъ, а она половину ихъ отдаетъ мамашѣ, сто звѣздъ Машкѣ, которая у ней въ фрейлинахъ и носитъ чалму, сто Грунѣ, которая и не думала тонуть, а жива и здорова и ужасно растолстѣла, сто Агафьѣ, совсѣмъ уже старенькой старушкѣ въ синемъ атласномъ капотѣ, и потомъ десять звѣздъ любимой куклѣ, — графинѣ де-Буа, по звѣздочкѣ разнымъ другимъ незначительнымъ куколкамъ, остальныя — себѣ, а папашѣ ни одной. Живетъ себѣ царевна да поживаетъ, ѣстъ миндаль и конфекты, пьетъ яблочный квасъ (мамашина приготовленія), и всѣ вокругъ нея веселятся, и ей самой весело. Вдругъ откуда ни возьмись, злой волшебникъ Карломанъ. Онъ хватаетъ царевну и уноситъ ее въ мрачный замокъ, находящійся вонъ тамъ, въ оврагѣ. Онъ мучитъ ее, задаетъ огромные уроки изъ грамматики Востокова и требуетъ, чтобъ она сказала ему милліонъ именъ, кончающихся на *енокъ*. Она ломаетъ руки, въ отчаяніи ходитъ по заламъ замка, сырымъ и грязнымъ, и шлейфъ ея царскаго платья шумитъ. Она не знаетъ столько именъ, она плачетъ. А

Карломану только этого и надо. Потому что каждая слезинка ея, падая на землю, превращается въ крупную жемчужину. Уже много такихъ жемчужинъ собралъ злой волшебникъ. По крайней мѣрѣ, сто мѣшковъ! И много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ она въ заточеніи. По крайней мѣрѣ, сто лѣтъ! Когда настанетъ конецъ ея тоскѣ, ея мукамъ? Что дѣлается тамъ, въ ея царствѣ? Не поглупѣли ли ея бирюзовыя птицы? Не высыпались ли опилки изъ графини де-Буа? Кто утѣшаетъ мамашу? Ангелы все такъ ли добры и внимательны? И кому теперь служатъ ея милыя фрейлины, Машка и Грунька? Не разсыпалась ли отъ старости няня Агафья? Ахъ, какъ все это хочется знать и какъ золъ Карломанъ, особливо по утрамъ, когда молится, вооруженный своимъ ремнемъ! Никогда не доводила Сонечка до конца своихъ грезъ. Царевна оставалась въ плѣну, окруженная всевозможными ужасами, летучими мышами, шипящими змѣями, кривляющимися карликами, и единственнымъ утѣшеніемъ ея была надежда, что когда-нибудь кто-нибудь разобьетъ страшный замокъ, прогонитъ Карломана и спасетъ Сонечку, и она побѣжитъ, свободная, съ веселымъ рѣз-

вымъ крикомъ, вонъ по тому необъятному полю, что ночью кажется сѣдымъ и что днемъ волнуется, какъ золотой туманъ.

Какъ не помнила Сонечка, когда она выучилась грамотѣ, такъ не помнила и того, какъ и когда начала рисовать. Но кажется, что Машка Аршинъ и тутъ была ея первой наставницей, потому что обводила углемъ на стѣнѣ очертанія тѣни отъ Агафьи или Груньки Рябой-Формы, и такимъ образомъ получались фигуры, въ которыхъ самый опытный глазъ художника едва ли призналъ бы человѣческія изображенія, но которыя забавляли и восхищали Сонечку наравнѣ съ Агафьиными кониками и санками. Потомъ, когда подросла, она завела родъ альбомчика, крошечную книжечку, сшитую золотымъ шнуркомъ, и всю разрисовала чернилами, причемъ обиліе темъ было поразительное. Лица изображались преимущественно въ профиль, съ палочкообразными носами и руками, напоминавшими куриныя лапки. Одна картинка представляла Машку, дававшую барынѣ умываться, другая Агафью, третья пьянаго Ваньку Беззубаго, четвертая лошадей, пятая домъ, окруженный деревьями, шестая огонь. Потомъ этотъ натурализмъ, смѣнился идеа-

лизмомъ, и была сдѣлана новая книжечка, въ которую заносились изображенія святыхъ, ангеловъ и чертей, отличавшихся длинными кренделеподобными хвостами. Временный упадокъ искусства выразился въ сильномъ подражательномъ направленіи, причемъ тонъ задавали суздальскія картинки. Дошло даже до скопировыванія ихъ при помощи папиросной бумаги. Но затѣмъ искусство вновь расцвѣло, и появился рядъ новыхъ оригинальныхъ и болѣе совершенныхъ композицій. Толчкомъ послужило слѣдующее обстоятельство.

Въ мезонинѣ, съ незапамятныхъ временъ, валялись, среди всевозможнаго хлама, три масляныя картины. Однажды Сонечка разсмотрѣла ихъ. Одна изъ нихъ была прорвана, небольшая, квадратная, какого-то мягкаго золотистаго тона. Сонечкѣ она ужасно понравилась, и она смахнула съ нея пыль и повѣсила ее на стѣнѣ. Картина изображала Елисавету съ предвѣчнымъ младенцемъ на рукахъ, кудрявымъ, полненькимъ и цвѣтущимъ, но съ серьёзнымъ и капризнымъ личикомъ, обращеннымъ съ недоумѣніемъ къ своей нянѣ, между тѣмъ, какъ рука его протягивалась прямо къ зрителю, ладонью

впередъ, и казалось, выходила изъ полотна — такъ она была неподражаемо хорошо сдѣлана. Елисавета, въ темной шелковой одеждѣ, собравшейся въ множество красивыхъ складокъ на рукавахъ и колѣнахъ, заботливо и опасливо смотрѣла на него. Но въ особенности удивительно было изображеніе Богоматери, въ темнозеленомъ платьѣ, съ буффами на плечахъ и въ головномъ уборѣ, ниспадавшемъ легкой прозрачной дымкой до самыхъ рукавовъ. Глаза ея были опущены, и ихъ мягкій свѣтъ чувствовался за шелкомъ рѣсницъ, разливая радость на ея прекрасномъ лицѣ, молодомъ, проникнутомъ кроткой величавостью. Внизу, лѣвѣе, у ногъ Маріи, полулежалъ, опираясь на локоть, Іоаннъ Креститель, и на его лицѣ, обращенномъ къ матери, проступала ревнивая тревога, какъ у дѣтей, впервые сознающихъ, что родители ихъ бѣдные и незнатные, и имъ суждено влачить жизнь слугъ у нарядныхъ барчуковъ, съ которыми они вотъ сейчасъ играли за панибрата, ничего не подозрѣвая. На двѣ другія картины, изображавшія голыхъ женщинъ, Сонечка не обратила большаго вниманія, но эта маленькая картинка приковала ее къ себѣ, и она часто бѣгала на мезонинъ

чтобъ посмотрѣть на нее, пока однажды графъ не потребовалъ, чтобъ ему выслали въ Петербургъ всѣ имѣющіяся въ домѣ картины. Сонечка очень огорчилась, когда увезли ея сокровище, и долго напрягала всѣ усилія, чтобы воспроизвести что-либо подобное, только ничего не выходило, да прежніе альбомы ея стали казаться ей гадкими, и она тихонько порвала ихъ.

Между тѣмъ ей исполнилось десять лѣтъ. Она покончила уже съ четырьмя правилами ариѳметики, французскимъ чтеніемъ, краткой священной исторіей, половиной грамматики Востокова, и прочитала Пушкина, «Мертвыя Души», нѣсколько книжекъ «Современника», «Весельчакъ» за цѣлый годъ и «Народную Медицину» Чаруковскаго. Папаша въ одинъ прекрасный день рѣшилъ отдать ее въ пансіонъ и, недолго думая, разлучилъ съ мамашей и всѣмъ, что ей было такъ близко и дорого.

Уѣзжая, она горько плакала. Было холодное утро, хмурилось небо.

VI

ОНЕЧКА разсказала Ивану Иванычу о своемъ дѣтствѣ, о своемъ пансіонскомъ и гимназическомъ житьѣ-бытьѣ, а Иванъ Иванычъ разсказалъ ей все о себѣ. И такимъ образомъ, узнавъ другъ друга еще ближе, они еще болѣе сошлись, и часто говорили, что созданы другъ для друга и умерли бы съ тоски, если-бъ ихъ разлучили. Явилась жажда знать всѣ секреты другъ друга, и Иванъ Иванычъ принесъ ей однажды свои альбомы съ карточками друзей и знакомыхъ, сувениры, полученные въ разное ремя отъ родныхъ, причемъ, однако, медальонъ съ портретомъ жены не показалъ

а бросилъ въ каминъ (это было вскорѣ послѣ ссоры съ Полиной Марковной), тетради съ стихами, писаніе которыхъ возобновилъ недавно, нѣсколько нумеровъ газетъ, гдѣ были помѣщены его статейки; и одинъ крошечный разсказъ о томъ, какъ мужикъ жида убилъ, а становой взятку взялъ за что-то съ жидовки, напечатанный въ тогдашней «Искрѣ». Сонечка порылась въ своей шкатулкѣ и, въ свою очередь, показала ея достопримѣчательности — русый локонъ покойной мамаши, тщательно завернутый въ траурную бумажку, карандашную копію съ св. семейства, «что на мезонинѣ», сдѣланную уже очень давно и достаточно уродливую, и портретъ Агафьи, тоже совсѣмъ неправильно написанный и, однако-же, улыбающійся, почти живой, современный предъидущему рисунку, затѣмъ болѣе двадцати карточекъ подругъ, истрепанный нумеръ «Колокола», начатая и неоконченная поэма, которая потомъ была передѣлана и сообща доведена ими до конца подъ названіемъ «Деревня», и пачка писемъ, въ числѣ которыхъ были письма отъ Лозовскаго, писанныя къ Сонечкѣ въ деревню, во время послѣднихъ рождественскихъ праздниковъ. Кромѣ того, много

было сухихъ цвѣтовъ, придававшихъ своимъ увядшимъ ароматомъ поэтическую прелесть всему этому собранію сувенировъ, по крайней мѣрѣ въ глазахъ Ивана Иваныча. Относительно писемъ Лозовскаго тутъ же, по прочтеніи ихъ Иваномъ Ивановичемъ, сожженныхъ Сонечкою, причемъ Иванъ Иванычъ съ улыбкой смотрѣлъ на ауто-да-фе, у него завязался разговоръ съ дѣвушкой. Онъ находилъ, что Лозовскій не такой уже сухой и прозаическій человѣкъ, какъ думаетъ Сонечка, а Сонечка утверждала, что «нѣтъ, это очень, конечно, образованный буржуа въ кожѣ семинариста, который совершенно доволенъ своимъ учительскимъ мѣстомъ и навѣрное скоро опустится до окружающаго его уровня, да такъ этого и не замѣтитъ, а все будетъ хохотать и ломаться». Въ письмахъ онъ упрашивалъ Сонечку оставить заоблачность, наплевать на поэзію и, сдѣлавшись поскорѣе его женой, заняться въ гимназіи обученіемъ подростающаго поколѣнія, «чтобъ толкъ вышелъ изъ ея дѣятельности, а не однѣ фантазіи».

— Мнѣ этотъ тонъ не нравится, — съ сердцемъ говорила Сонечка, — это меня оскорбляетъ. Ну, фантазіи — хорошо, да

отчего же не попробовать? Не знаю, чѣмъ кончу, а только знаю, что не сгибну безслѣдно — что-нибудь сдѣлаю...

И, затѣмъ, чувствуя на себѣ восхищенный взглядъ Ивана Иваныча, конфузилась, краснѣла и улыбалась ему, полузакрывъ лицо, какъ дѣвочка, пальцами, ладонью наружу.

— Нѣтъ, а согласись, Ваня, — продолжала она, оправляясь, — онъ все третировалъ меня свысока и всегда хотѣлъ, чтобы я слѣпо принимала его мнѣнія и убѣжденія, а когда я спорила, онъ сердился — потому что онъ въ душѣ деспотъ, это ужь пари держу!—и поднималъ на смѣхъ, что мнѣ дорого... А вотъ ты такъ мой! — прибавила она ласково, какъ бы проводя параллель между Иваномъ Иванычемъ и Лозовскимъ, и Иванъ Иванычъ на это улыбался не безъ чувства нѣкоторой кокетливой горделивости, вполнѣ убѣжденный, что, конечно, онъ подходитъ къ Сонечкѣ гораздо больше и втайнѣ даже соглашаясь, что Лозовскій не только сухой, но и вообще противный человѣкъ.

О томъ, какъ Сонечка сошлась съ Лозовскимъ, Иванъ Иванычъ узналъ слѣдующее:

Лозовскій былъ назначенъ къ нимъ, въ новоиспеченную гимназію, учителемъ географіи

и сразу обворожилъ ученицъ тѣмъ, что читалъ не по программѣ, уроковъ не задавалъ и не спрашивалъ, развѣ только для виду, чтобы начальство не косилось, и всегда умѣлъ заинтересовать классъ своими лекціями. Педантомъ не былъ, смотрѣлъ каждой гимназисткѣ прямо въ глаза съ пріятельской усмѣшечкой, точно былъ ея закадычнымъ другомъ и точно видѣлъ всѣ ея помыслы и сочувствовалъ ей главнымъ образомъ въ ея оппозиціи классным дамамъ и директрисѣ. Давалъ читать книжки всѣмъ желающимъ, и книжки были всегда умныя и дѣльныя, такъ что уже однимъ своимъ содержаніемъ свидѣтельствовали о томъ, какой человѣкъ былъ ихъ собственникъ. Встрѣчаясь съ ученицами внѣ гимназіи, онъ продолжазъ держаться этого пріятельски-покровительственнаго тона, и когда одна гимназистка, не смотря на вопіющую бѣдность, не была освобождена отъ платы за право слушанія, то внесъ за нее свои собственныя деньги и самъ порадовалъ дѣвушку вѣстью объ этомъ. Вообще онъ былъ очень популяренъ, и вѣроятно, и искалъ популярности, потому что популярнымъ быть пріятно. Такъ, по крайней мѣрѣ, объясняла Сонечка поведеніе

Лозовскаго, на карточки котораго былъ всегда большой спросъ у фотографа. (Гимназистки, сообщила Сонечка, между прочимъ, покупали карточки и Вѣнцеславова, красиваго актерика, игравшаго Гамлета, Карла Мора и другихъ, и въ дивертисментахъ говорившаго «жестокіе» куплеты). Сонечка долго дичилась Лозовскаго, хотя быстро отличила его въ толпѣ другихъ учителей. Сближенію же ея съ нимъ помогло одно странное происшествіе. Жила она, будучи гимназисткой, въ домѣ окнами на улицу, противъ дома, въ которомъ часто бывала въ гостяхъ начальница гимназіи, особа близорукая во всѣхъ смыслахъ. Сонечка, обыкновенно, послѣ обѣда занималась лѣпкой изъ глины. Начальница, вѣроятно, очень любопытствовала узнать, что это такое, присматривалась и, наконецъ, рѣшила, что дерзкая дѣвочка показываетъ ей пальцы, быстро и на разные манеры, и заявила объ этомъ въ совѣтѣ, ужасно негодуя и требуя исключенія Сонечки изъ гимназіи. Вызвали ее для объясненія и чуть было не привели въ исполненіе предложенія директрисы, такъ какъ Сонечка въ отвѣтъ сказала, что удивляется, какъ такое обвиненіе, вздорное и нелѣпое до очевидности, не

было тотчасъ отвергнуто и какъ могли обсуждать его люди, повидимому зрѣлые. Одинъ только Лозовскій вступился за нее, почтительно ломаясь передъ начальницей и утверждая, что, конечно, показываніе пальцевъ есть дѣяніе несомнѣнно преступное и наказуемое, но какъ актъ, влекущій за собою серьезныя послѣдствія, должно быть выяснено и доказано прежде всего; и поэтому онъ предлагаетъ госпожѣ Свѣнцицкой, отложивъ въ сторону критику поведенія совѣта, какъ не подлежащую компетенціи гимназистокъ, представить свои соображенія насчетъ того, что именно могло подать поводъ уважаемой начальницѣ къ упомянутому обвиненію? Не совершала ли она, обвиняемая, движеній пальцами, которыя могли бы показаться преступными въ силу какихъ-нибудь оптическихъ условій и особенностей зрѣнія обожаемой начальницы? Ибо онъ увѣренъ, что все это есть плодъ недоразумѣнія и что во всякомъ случаѣ движенія пальцами, которыя совершала Свѣнцицкая и которыя оскорбили достоинство любимой начальницы, были, выражаясь юридически, добросовѣстны и чужды внушеній злой воли. Сонечка, выслушавъ Лозовскаго, успокоилась и улыбаясь объ-

яснила, что, дѣйствительно, она каждый день лѣпитъ возлѣ окна, и что вотъ, пожалуй, причина обвиненія, потому что лѣпитъ она прямо руками, рѣдко съ помощью инструмента. Лозовскій, сохраняя вполнѣ серьезный видъ, попросилъ тогда, чтобы дѣвушка продѣлала, въ присутствіи совѣта, нѣсколько движеній пальцами, аналогичныхъ тѣмъ, которыя она совершаетъ во время своихъ скульптурныхъ занятій. Но совѣтъ нашелъ, что вопросъ уже выясненъ, и сама начальница, вспотѣвшая и красная, улыбалась всѣмъ блуждающей улыбкой, какъ бы прося извиненія, и подойдя къ Сонечкѣ, сказала ласково: «ну, идите, милая, домой, да не будьте дерзки». Было уже темно; осенняя слякоть началась. Лозовскій вызвался на крыльцѣ проводить Сонечку и потомъ два раза перенесъ ее черезъ лужу. Оба смѣялись надъ начальницей, надъ совѣтомъ, и Сонечка говорила Лозовскому, что благодаритъ его и не забудетъ, какъ онъ поддержалъ ее. На половинѣ дороги онъ пригласилъ ее къ себѣ и сказалъ, что это ничего, никто не узнаетъ, къ тому жь онъ учитель, а чаю всегда не мѣшаетъ напиться, да онъ

и продрогъ. Она зашла и просидѣла у него полчаса.

— Вотъ такимъ образомъ мы и познакомились,—говорила Сонечка Ивану Иванычу, прекращая на этомъ мѣстѣ свои признанія и крѣпко и часто цѣлуя его въ лобъ, какъ бы желая заглушить этими поцѣлуями воспоминанія о дальнѣйшихъ подробностяхъ своихъ отношеній къ Лозовскому.

Иванъ Иванычъ не разспрашивалъ. Онъ зналъ, какія это были отношенія. И хотя они серьезны были только по цѣли, къ которой вели, однако старался не думать о нихъ, потому что въ глубинѣ души ревновалъ даже къ прошлому Сонечки.

VII

ВАНЪ Иванычъ такъ замечтался, что и не замѣтилъ, какъ прошло время, и стрѣлка часовъ съ девяти передвинулась до одиннацати, а солнечный лучъ, широко вливавшійся въ окно почти въ прямомъ направленіи, скосился и сталъ освѣщать только край стола да часть подоконника. Изъ мечтательнаго забытья вывела его горничная, просунувшая въ дверь два письма. Иванъ Иванычъ вскочилъ и съ тревожнымъ недоумѣніемъ схватилъ ихъ и принялся вертѣть въ рукахъ и разсматривать ихъ штемпеля. Письма были изъ Петербурга, и адресы были писаны незнакомой рукой. «Отъ

кого бы»?—спрашивалъ себя Иванъ Иванычъ. И вдругъ сердце его забилось, «Ахъ», подумалъ онъ, «да это изъ редакціи, а это отъ того господина, отъ Ширкова». И поспѣшно вскрылъ конверты. Онъ не ошибся. Письмо Ширкова, извѣщавшаго, что хотя онъ и обѣщалъ Ивану Иванычу мѣсто, однако, къ величайшему сожалѣнію, никакъ не можетъ устроить по своему, и вчера еще ваканція, назначавшаяся для Ивана Иваныча, была замѣщена протеже главнаго начальника, — не произвело на Ивана Иваныча впечатлѣнія. «Ну, и чортъ съ нимъ, сказалъ онъ вслухъ, пожалуй, этакъ и лучше», причемъ не могъ не вспомнить съ благодарностью, что главною причиною такого равнодушія его къ служебному поприщу въ Петербургѣ была Полина Марковна, ссудившая ему триста рублей. «Мѣсяца на два этихъ капиталовъ хватитъ, невольно сообразилъ онъ, не то и на больше, а до тѣхъ поръ можно отлично будетъ устроиться и найти другія занятія, хотя бы, напримѣръ, литературныя». Но второе письмо, редакціонное, до того взволновало его съ первыхъ же строкъ, что онъ два раза принимался его читать и насилу могъ удержать его, такъ тряслись его руки.

Редакторъ началъ съ похвалъ поэмѣ и въ особенности хвалилъ мѣста, принадлежавшія Сонечкѣ, но въ общемъ вещь не одобрялъ, находилъ ее черезъ-чуръ непродуманною, «сцементированною» изъ ряда стихотвореній, имѣющихъ между собою мало общаго и, въ концѣ-концовъ, совѣтовалъ разбить ее на отдѣльныя небольшія «піески» и не спѣшить печататься, а дать стихамъ вылежаться, да быть цензурнѣе. Тонъ письма былъ нѣсколько офиціальный, но нѣсколько и ласковый, какимъ говорятъ вообще съ людьми, «подающими надежды». Спрятавъ письмо въ портфельчикъ, Иванъ Иванычъ сталъ поспѣшно одѣваться, чтобъ сейчасъ же бѣжать къ Сонечкѣ и сообщить ей вѣсть объ ея стихахъ и предложить переработать поэму по рецепту редактора, выбросивъ все, что принадлежитъ лично ему, Ивану Иванычу. Нисколько, повидимому, не ревнуя къ Сонечкѣ и, напротивъ, получивъ твердую увѣренность въ томъ, что у ней есть талантъ, и даже преувеличивъ ея поэтическія свособности, онъ, однако, былъ огорченъ и въ глубинѣ души мучился, отчего онъ не такой писатель, произведенія котораго сразу

могли бы найти себѣ цѣну и притомъ высокую на литературномъ рынкѣ.

«Бездарность я, бездарность!» шепталъ онъ дрожащими губами, завязывая передъ зеркаломъ галстухъ въ хитрый бантъ, который привыкъ дѣлать машинально.

Но одѣвшись, онъ произнесъ себѣ въ утѣшеніе: «ну, да что дѣлать, вѣдь этотъ редакторъ можетъ еще и ошибаться, вѣдь хвалитъ же онъ, между прочимъ, Сонечкину строфу объ ивѣ, совсѣмъ, правду сказать, плохенькую», и вышелъ въ сравнительно хорошемъ расположеніи духа.

Было очень жарко. Пыльный воздухъ раскалялся. Во многихъ домахъ были закрыты ставни. Вяло шли люди. Вяло проѣхалъ парный извозчикъ. Тополи были сѣры отъ пыли, и небо, блѣдно голубое, утомительно блестѣло. Пройдя нѣсколько улицъ, Иванъ Иванычъ принужденъ былъ снять шляпу и вытереть платкомъ потъ.

Потомъ онъ подумалъ съ испугомъ:

«А что если я не застану Сонечки? У нея, кажется, урокъ теперь».

Онъ ускорилъ шагъ, чтобы удостовѣриться, ошибается онъ или нѣтъ, и даже загадалъ, что если застанетъ ее дома, зна-

читъ, уѣдетъ съ ней завтра, надъ чѣмъ, впрочемъ, сейчасъ-же улыбнулся.

Сонечка была дома. По раскраснѣвшемуся лицу можно было видѣть, что она только-что пришла. Увидѣвъ Ивана Иваныча, дѣвушка радостно вскрикнула и побѣжала къ нему, схвативъ его за обѣ руки и прижимаясь подбородкомъ къ его груди, между тѣмъ какъ глаза ея искрились, тревожные и любящіе, и въ нихъ стояли слезы.

— Что съ тобой?—въ волненіи спросилъ Иванъ Иванычъ, цѣлую Сонечку и снова, уже съ большимъ волненіемъ, вглядываясь въ ея глаза; и обнявъ за талію, повелъ ее къ дивану.

— Что съ тобой?—повторилъ онъ. - Сонечка, моя дорогая, моя милая, что съ тобой?

Она не отвѣчала и все прижималась къ нему. Онъ посадилъ ее къ себѣ на колѣни, причемъ она сначала слегка сопротивлялась, потому что это онъ въ первый разъ позволялъ себѣ. Потомъ обняла руками его шею и, тряхнувъ головой, такъ что бархатка перестала держать ея золотые волоса, и они разсыпались, душистые и тяжелые, и ударили его чуть-чуть по лицу, сказала шепо-

томъ, глядя ему въ глаза своимъ прекраснымъ, не то робкимъ, не то испытующимъ взглядомъ, помутнѣвшимъ отъ слезъ:

— Любишь?

— Сонечка, что за вопросъ? — сказалъ онъ съ улыбкой и поцѣловалъ ее въ голову. — Я тебя люблю, дорогая, конечно...

И опять поцѣловалъ крѣпко и прижалъ къ себѣ.

— Но въ самомъ дѣлѣ, что съ тобой, дорогая?—спросилъ онъ вдругъ съ новымъ приливомъ безпокойства, почувствовавъ, что сердце ея бьется неровно, и услышавъ, что она всхлипнула.

— Оставь меня, Ваня, не разспрашивай, — сказала она, силясь подавить слезы смѣхомъ и вскакивая съ его колѣнъ. — Все это пустяки, милый,—продолжала она, наклоняясь, чтобъ распрямить складку на платьѣ, а въ сущности для того, чтобъ спрятать отъ него плачущее лицо.

И потомъ прибавила:

— Я вотъ сейчасъ...

И выбѣжала.

Иванъ Иванычъ вдохнулъ, и грудь его заныла.

«Что это?» подумалъ онъ. «Къ чему

этотъ вопросъ—любишь? Ужь не настроилъ-чего-нибудь Лозовскій?» сообразилъ онъ и всталъ, теряясь въ догадкахъ.

— «Ѣхать! ѣхать! какъ можно скорѣе!» рѣшилъ онъ затѣмъ. «Прочь изъ этого омута! Тамъ не будетъ слезъ, потому-что не будетъ интригъ! Прочь, это — единственное средство!»

И онъ окинулъ комнату Сонечки жаднымъ взглядомъ, какъ-бы упаковывая всѣ ея вещи—мольбертъ, гипсы, постель, комодъ съ платьемъ, зонтикъ, шляпку, коврикъ на стѣнѣ, шкатулку — въ дорожный сакъ, уже висѣвшій на стѣнѣ.

Сонечка вошла въ это время, продолжая смѣяться, точно извиняясь за свои слезы. Брови ея и часть волосъ были влажны, потому-что она умылась, чтобъ освѣжиться.

— Не обращай на это вниманія, сказала она — это пустяки.

И затѣмъ, когда онъ, вопросительно глядя на нее, опустился на диванъ, сама сѣла къ нему на колѣни, и обнявъ его по прежнему, съ улыбкой скороговоркой произнесла:

— Не обращай, не обращай!

Онъ успокоился, хоть и продолжалъ недоумѣвать, и даже хотѣлъ спросить, что

«все-таки что это значитъ»? но Сонечка перебила его и сказала:

— Такъ повтори — любишь?

— Да, Сонечка, — отвѣчалъ онъ, улыбаясь.

— И никогда не бросишь?

— Никогда. Господи, вотъ еще выдумала вопросъ!

Сонечка пристально посмотрѣла ему въ глаза и, усмѣхнувшись, ласково произнесла: «Ахъ, ты, мой милый!» и потрепала его по щекѣ.

— А то знаешь, милый, меня сегодня очень обидѣли, — начала она, краснѣя. — Я тебѣ разскажу, потому что ты меня любишь, такъ что мнѣ все равно, если меня они обижаютъ — чужіе, — лишь бы ты не обидѣлъ. Понимаешь, милый?

Иванъ Иванычъ гнѣвно нахмурилъ брови.

— Кто-жь тебя обидѣлъ? — спросилъ онъ.

Она прикрыла его губы рукой.

— Ну, ну, не сердитесь, милостивый государь, пожалуйста!—сказала она капризно, какъ дѣвочка, маскируя этимъ жгучее чувство полученной ею обиды, а можетъ быть, и радуясь его гнѣву, который говорилъ ей,

что она не одна и не беззащитна.—Мнѣ,— продолжала она, — генеральша отказала сегодня отъ урока и сказала, что я могу бросить тѣнь на ея безподобныхъ дочерей... Какъ вамъ нравится это... а? Я это посчитала во всякомъ случаѣ обидой...

Иванъ Иванычъ поблѣднѣлъ и сидѣлъ нѣкоторое время молча. Потомъ взялъ руку Сонечки, крѣпко прижалъ ее къ губамъ и сказалъ:

— Прости меня, голубочка! Это я виноватъ. Неосторожно веду себя. Бываю у тебя часто, сплетня и выросла. Но завтра, наконецъ, мы уѣзжаемъ...

— Завтра? Такъ это правда? — вскрикнула Сонечка въ радостномъ испугѣ. — Неужели завтра? Полина Марковна вчера говорила, что скоро, да я не вѣрила... Боже мой, завтра! Досталъ, значитъ, денегъ?

— Досталъ у Полины же Марковны. Знаешь, она хорошая женщина, — произнесъ Иванъ Иванъ Иванычъ, задумчиво глянувъ въ пространство.

— Она хорошая, — сказала Сонечка убѣжденно и съ увлеченіемъ.

И затѣмъ воскликнула въ восторгѣ:

— Ну такъ завтра? Повтори же!

— Завтра.

— Не ожидала, право! — сказала Сонечка, вся сіяя... — Хотѣла просить тебя, когда шла отъ этой противной идіотки-генеральши, чтобъ ужь скорѣй... У меня вѣдь собралось кое-что, на дорогу хватило бы... А тутъ — это! Ахъ, это хорошо! Это совсѣмъ хорошо! Это спасибо... Полина Марковна, — гдѣ же она, — дома? Надо ее пойти поцѣловать... Она милочка, я ей въ ноги поклонюсь, за все поклонюсь... У ней сердце хорошее, нравственное, потому что это трудно, должно быть, переламывать себя такъ... Вчера она плакала и я плакала... Мы, женщины, — дуры, у насъ слезы замѣняютъ краснорѣчіе, но мы чувствуемъ и понимаемъ этотъ языкъ, какъ никто... Вотъ я и увидѣла вчера, какъ ты ошибался, милый, и какъ она искренно относится къ намъ... Ахъ, такъ завтра! Навѣрное, завтра?

— Завтра, голубочка, — отвѣчалъ Иванъ Иванычъ. — Завтра!

Сонечка стремительно поцѣловала его въ обѣ щеки, трепеща всѣмъ тѣломъ, охваченная радостью.

— Милый, забудь, — кричала она — мои

слезы, ради Бога, забудь, это все такіе пустяки! Ради Бога!

— Но еще не все, Сонечка, — сказалъ Иванъ Иванычъ, осчастливленный поцѣлуями Сонечки и ея восторгомъ, — вотъ тебѣ письмо изъ редакціи. Стихи твои хвалятъ.

Она вырвала письмо и стала читать, все продолжая сидѣть на колѣнахъ Ивана Иваныча, между тѣмъ какъ онъ перебиралъ ея волосы и ждалъ съ любопытствомъ, что она скажетъ. Потомъ, дочитавъ письмо, она, видимо польщенная отзывомъ редактора, улыбнулась Ивану Иванычу какой-то лукавой и хорошей улыбкой, какой онъ у ней никогда еще и не замѣчалъ, и произнесла:

— О, милый, да, мы будемъ писателями, вотъ посмотришь... Это ничего, что неудача. Иное пораженіе стоитъ побѣды. Не правда-ли?

— Конечно, конечно, — сказалъ Иванъ Иванычъ съ усмѣшкой.

— А слезы забудь,—повторила она, ласкаясь къ нему и прижамаясь подбородкомъ къ его плечу.—Забываешь?

— Забываю, — сказалъ Иванъ Иванычъ съ той же усмѣшкой.

Сонечка внимательно посмотрѣла ему въ

лицо, причемъ онъ смутился и слегка скосилъ глаза, и покачала головой.

— Неужели, милый, ты недоволенъ? — спросила она.

— Другъ мой, тебя хвалятъ, — сказалъ онъ, краснѣя и опуская рѣсницы,—но меня вѣдь не тово... о моихъ строкахъ редакторъ отзывается, какъ о холодныхъ и реторичныхъ... Это меня, признаться, не радуетъ,— прибавилъ онъ съ улыбкой,—хотя, конечно, твоему успѣху я безконечно радъ. Честное слово! Ты вообще удивительно талантливая головка!

Сонечка покраснѣла, въ свою очередь, и подумала:

«Въ самомъ дѣлѣ, я ужасная эгоистка. Какъ же я не замѣтила, что его стихи не одобрены? А вѣдь несправедливо — у него прелестные стихи».

И сказала:

— Милый, тебѣ все-таки нечего огорчаться. Во-первыхъ, поэма *наша*, а не моя и не твоя, а во-вторыхъ, редакторъ не такой ужь судья непогрѣшимый... Можетъ, онъ зря понадѣлалъ замѣчанія... А?

— Можетъ быть, — сказалъ Иванъ Иванычъ,—можетъ быть!

— Да, наконецъ, ты, пожалуй, будешь силенъ въ романѣ. У тебя этотъ разсказикъ въ «Искрѣ» прелестенъ... — сказала Сонечка.—А романъ, право, выше стиховъ!

Иванъ Иванычъ кивнулъ головой и вздохнулъ, и ему показалось, что всѣ его мечты о литературѣ ужасное дѣтство, потому что будь онъ талантъ, онъ сразу заявилъ-бы себя еще лѣтъ въ девятнадцать или двадцать, да и Сонечка это навѣрное хорошо сознаетъ и вотъ сейчасъ деликатнымъ манеромъ намекнула ему, что онъ не стихотворецъ.

«Романистъ!» сказалъ онъ себѣ и криво усмѣхнулся, а дѣвушка тревожно взглянула на него и погладила его по щекѣ рукой.

— Милый, не теряй энергіи и не грусти по пустякамъ, не то сейчасъ-же разлюблю, — произнесла она съ шутливой угрозой.

Онъ подумалъ, покраснѣлъ и вдругъ сжалъ Сонечку въ сильномъ объятіи.

— Пока ты со мной, милая, я никогда не паду духомъ!—прошепталъ онъ, и глаза его заискрились страстью.—Вѣдь я люблю тебя, неимовѣрно люблю, воскресаю душой и сердцемъ возлѣ тебя, слышишь?

— И я тебя люблю, и стихи твои пре-

лестны!—отвѣчала Сонечка, чувствуя, что взглядъ ея зажигается и тонетъ въ его взглядѣ.

Иванъ Иванычъ улыбнулся на ея слова, но уже не скептически. Разомъ пропали всѣ его тревоги и сомнѣнія. «Не я, такъ она, все равно — мы одинъ человѣкъ!» рѣшилъ онъ, благоговѣйно восторгаясь предъ Сонечкой и съ восхищеніемъ продолжая глядѣть на нее, и робко ища ея руки, пока глаза ея не опустились въ тревогѣ, и темныя рѣсницы не оттѣнили бѣлизны ея щекъ, вдругъ вспыхнувшихъ яркимъ румянцемъ.

VIII

ИВАНЪ Иванычъ ушелъ отъ Сонечки, удивляясь высотѣ своего счастья, о которой прежде и не мечталъ, потому что уже поцѣловать ея руку было для него тогда верхомъ блаженства. На лицѣ его, онъ чувствовалъ это, изображалось такое полное удовлетвореніе жизнью, что оно, несомнѣнно, должно было рѣзко отличаться отъ лицъ другихъ обывателей, встрѣчавшихся ему на пути, и онъ не удивился, когда нѣкоторые знакомые посмотрѣли на него внимательно и какъ бы съ любопытствомъ. Въ канцеляріи, куда онъ зашелъ выправить свою отставку, онъ, считавшій

себя счастливѣе и поэтому выше всѣхъ въ мірѣ, сталъ разговаривать съ начальникомъ на равной ногѣ, даже нѣсколько свысока, и сначала испугалъ этимъ секретаря, а потомъ и всю чиновную братью, вообразившую, что онъ немного рехнулся, да и самъ начальникъ отъ него слегка попятился и поспѣшилъ подписать ему свидѣтельство безотлагательно. Онъ этого ничего не замѣтилъ, далъ сторожу три рубля на прощанье и запѣлъ: «трамъ-трамъ-ти-ра-рамъ» чуть не въ предѣлахъ самой канцеляріи. Оттуда онъ зашелъ за подорожной, и хотѣлъ-было направиться домой, чтобъ уложиться, но сообразилъ, что успѣетъ это сдѣлать еще на сонъ грядущій, домой же идти ему очень не хотѣлось. Какъ только узелъ его съ Сонечкой завязался до того прочно, что развязать его уже казалось невозможнымъ дѣломъ, онъ почувствовалъ отвращеніе къ дому. Сидѣть такъ болѣе или менѣе спокойно въ кабинетѣ и мечтать, какъ сегодня утромъ, онъ не могъ бы больше. «Даже, рѣшилъ онъ, обѣдать дома я не въ состояніи», и пошелъ въ клубъ, гдѣ пообѣдалъ въ обществѣ какого-то консисторскаго чиновника, двухъ офицеровъ и актера Вѣнцеславова,

гладко-выбритаго, задумчиво-величаваго и съ великолѣпной черной шевелюрой. Послѣ обѣда онъ сталъ пить кофей и шутилъ съ лакеемъ; вообще былъ ужасно веселъ. Расположеніе его духа не измѣнилось даже отъ появленія въ обѣденной залѣ Лозовскаго, устремившаго на него насмѣшливые глаза и незамѣтившаго его поклона. Вспомнилъ онъ, прихлебывая кофе съ коньякомъ, какъ огорчило его утромъ письмо редактора и какъ онъ, въ сущности, позавидовалъ Сонечкѣ, и ему сдѣлалось стыдно и смѣшно теперь, улыбка невольно скользнула по его губамъ. Ему понравилось, что Сонечка порекомендовала ему беллетристику. «Въ самомъ дѣлѣ, думалъ онъ, займусь прозой и изображу въ этакой большой повѣсти всѣхъ этихъ скотовъ», и посмотрѣлъ на окружающихъ окомъ собственника, точно и въ самомъ дѣлѣ онъ былъ романистъ и видѣлъ передъ собою уже созданные имъ самимъ типы и образы во всей ихъ жизненной правдѣ. «Вотъ и обстановку эту изображу», сказалъ онъ себѣ потомъ и внимательно глянулъ на стойку, гдѣ блестѣли бутылки, рюмки и стаканы, потомъ на стѣны, оклеенныя голубыми обоями, закопченный потолокъ, лампу, окна съ по-

желтѣлыми гардинами, столъ съ приборами, искусственнымъ букетомъ цвѣтовъ и скатертью, пестрой отъ горчичныхъ пятенъ. «Во всякомъ случаѣ, я прощаюсь съ клубомъ, подумалъ онъ, и вижу эти рожи и всю эту грязь въ послѣдній разъ», и вставъ, бросилъ лакею рубль: «на, молъ, другъ любезный,—не поминай лихомъ».

«Куда же теперь?» спросилъ онъ себя, очутившись на улицѣ. «Конечно, къ Сонечкѣ. Жаль, что не пришло въ голову обѣдъ устроить вмѣстѣ.... Она у этой своей хозяйки дрянь ѣстъ, должно быть, невообразимую, да и слѣдовало бы отпировать сегодняшній день хоть въ формѣ обѣда. Но все равно, напьемся вмѣстѣ чаю и, кстати, помогу ей уложиться. Уложу ее, а потомъ уже и свои вещи пойду укладывать».

Сонечка встрѣтила его не такъ тревожно, какъ утромъ, хотя можно было замѣтить, что она скучала въ его отсутствіе. Она улыбнулась ему не то любовно, не то конфузливо, но сейчасъ же развеселилась, видя, что онъ самъ не только веселъ, но даже имѣетъ безпечный видъ окончательно счастливаго человѣка.

— Свободенъ уже совсѣмъ? — спросила она, намекая на отставку.

Иванъ Иванычъ молча показалъ бумагу и кивнулъ головой,

— Значитъ и ѣхать можно?

— Можно, — отвѣчалъ онъ и показалъ подорожную.

— Поѣдемъ сегодня, а!?

— Поѣдемъ, —произнесъ онъ съ лѣнивой улыбкой, какъ бы говоря: «чего ужь такъ спѣшить, успѣемъ и завтра!» Сонечка такъ это и поняла и замолчала. Потомъ вынула изъ портмонэ пачку десятирублевокъ и сказала:

— Вотъ я тебѣ говорила... Вотъ смотри, у меня на дорогу сто рублей.

— А!?! — весело протянулъ Иванъ Иванычъ и развалился на диванѣ,—«какъ у себя дома», опредѣлилъ онъ мысленно съ восхищеніемъ.

— Будемъ чай пить, вотъ что! — сказалъ онъ. — А что деньги у тебя — такъ это очень хорошо. Лишній мѣсяцъ жизни обезпеченъ.

Сонечка приказала поставить самоваръ, вернулась въ комнату и присѣла возлѣ Ивана Иваныча.

— Не почитать ли намъ, Сонечка, покамѣстъ!—сказалъ вдругъ Иванъ Иванычъ и посмотрѣлъ на толстую книгу, лежавшую на столѣ.

Но дѣвушка затрясла головой.

— Нѣтъ, ужъ ради Бога не будемъ читать! — крикнула она съ веселымъ испугомъ.—Мнѣ этими умными книжками еще Илья Петровичъ жизнь отравилъ. Захочу, и сама прочитаю. Такъ и толковѣе выйдетъ. А то какъ въ тенденціозномъ романѣ: полюбили другъ друга и сейчасъ умныя книжки читать. Не правда ли, Ваня?

Онъ засмѣялся.

— Такъ давай говорить глупости...

— Давай.

— Будемъ мечтать!

— Будемъ.

Онъ описалъ весьма живо дорогу въ Петербургъ, въ которомъ былъ однажды вмѣстѣ съ Полиной Марковной. Сначала перекладными, а потомъ и чугункой. Описалъ пріѣздъ въ столицу, первыя впечатлѣнія отъ Невскаго, отъ дворцовъ, отъ набережныхъ, отъ Исаакія, отъ Эрмитажа, въ которомъ есть такая удивительная старушка, что никакъ не вѣрится, что это нарисовано, и

какъ близко ни подходи, всѣ поры видишь, всѣ морщиночки, а краски—ни слѣда. Онъ эту старушку только и запомнилъ. Описалъ затѣмъ маленькую квартирку на Петербургской сторонѣ, съ цвѣтами, простенькой мебелью, и одну комнату взялъ себѣ, другую сдѣлалъ общею, а изъ третьей устроилъ нѣсколько фантастическую мастерскую для Сонечки — съ Рембрандтовскимъ свѣтомъ. Сонечка слушала все это съ тихой радостью и находила, что большое счастье быть женой Ивана Иваныча (она уже считала себя его женой), который, главное, ужасно добръ и милъ. И слушая его, цѣловала его и прижимала его руку къ своей груди.

Подали самоваръ. Сонечка сѣла къ столу и заварила чай, откинувъ слегка рукава, и Иванъ Иванычъ съ удовольствіемъ посмотрѣлъ на ея руки, тонкія и круглыя, съ теплымъ оттѣнкомъ бѣлой кожи, съ голубыми жилками. И затѣмъ, окинувъ такимъ же взглядомъ всю фигуру Сонечки, стройную и пропорціональную, съ тонкой и гибкой таліей, онъ подумалъ: «Сколько счастья! И за что?»

И всталъ и сѣлъ возлѣ нея.

Лицо Сонечки было удивительно хорошо.

Свѣтъ падалъ прямо на него, и оно было на виду. Мягкія золотыя кудерки на вискахъ ползли назадъ, вмѣстѣ съ волнистыми прядями болѣе темнаго, почти русаго цвѣта, и открывали ея бѣлый лобъ, теперь невозмутимо гладкій, и розовыя уши. Чуть замѣтный пушокъ тушевалъ нѣжный контуръ ея лица, и на одной щекѣ, гдѣ было родимое пятнышко, неровно разливался розовый румянецъ, тогда какъ другая была чуть-чуть блѣднѣе. Яркія губы улыбались и глаза сіяли мягкимъ блескомъ.

«Сколько счастья!» повторялъ Иванъ Иванычъ мысленно и не спускалъ глазъ съ Сонечки, чувствовавшей это и стыдливо потуплявшейся по временамъ.

Вдругъ онъ сказалъ:

— Сонечка, знаешь что?

— Что, милый?

— Я сейчасъ послѣ чаю пойду домой, уложусь и притащу къ тебѣ чемоданъ... Хотѣлъ не такъ, да такъ лучше... Что ужь тутъ, Сонечка... отчего не сократить срока?—спросилъ онъ робко, и еще боязливѣе прибавилъ: такъ что ужь отъ тебя уѣдемъ чуть свѣтъ...

Сонечка покраснѣла, закрыла глаза рукой

и, подавъ ему не глядя другую руку, сказала чуть слышно:

— Хорошо.

Затѣмъ послѣ паузы начала:

— Ну, а къ Полинѣ Марковнѣ... Мнѣ хотѣлось къ ней сходить...

— Пожалуй, сдѣлай ей прощальный визитъ... Этакъ совсѣмъ ужь вечеркомъ,— сказалъ Иванъ Иванычъ, съ чуть замѣтной гримасой, потому-что вдругъ вспомнилъ утренній разговоръ свой съ женой и его ближайшій результатъ—ощипанный розанъ на полу.—Видишь ли, она хотѣла насъ провожать... Но можетъ быть, это будетъ ей тяжело—обременитъ ее,—пояснилъ онъ тоскливо, и потомъ радостно произнесъ:—но впрочемъ, она рано не встанетъ, проспитъ.

Сонечка посмотрѣла на него и сказала:

— А мы эгоисты, Ваня!

— Тутъ эгоизмъ простителенъ, — отвѣчалъ Иванъ Иванычъ.

Тогда они оба замолчали, и долго сидѣли такъ, и пожимали другъ другу руки.

А въ открытое окно изъ цвѣтника тянуло сиренью, жасминомъ и резедой, и долеталъ изрѣдка уличный шумъ пробудившагося отъ дневной спячки города. То былъ, казалось

имъ, совсѣмъ другой міръ, враждебный имъ и преслѣдующій ихъ злословіемъ, міръ, съ которымъ они порвали сегодня окончательно и закрѣпили этотъ разрывъ взаимнымъ союзомъ. И Сонечка, вспоминая, какъ грубо оскорбила ее генеральша, съ отвращеніемъ думала объ этомъ мірѣ и, съ любовью глядя на своего мужа, говорила себѣ:

«Но теперь, кажется, все кончено. Онъ—мой, и я—его, инамъ нечего стыдиться этого. Рубиконъ перейденъ, и мы скоро будемъ въ Римѣ»...

Однако же по мѣрѣ того какъ продолжалось ихъ безмолвное созерцаніе огромности счастья, выпавшаго на ихъ долю и казавшагося имъ какой-то перспективой наслажденій, которая будетъ развертываться передъ ними вѣчно,—чувство, похожее на недоумѣніе или даже на страхъ, стало шевелиться въ ея груди все назойливѣе и назойливѣе, точно это было угрызеніе совѣсти, еще не сознаваемое ею и едва зародившееся. Иванъ Иванычъ, ничего сначала не замѣчавшій, подъ-конецъ таки увидѣлъ, что взглядъ ея сдѣлался безпокоенъ и что въ немъ опять промелькнулъ грустно-боязливый оттѣнокъ, какъ это и прежде случалось ему

наблюдать. Но онъ ничего не сказалъ теперь, опасаясь нарушить своимъ вопросомъ душевный миръ свой и думая, что это такъ, что это сейчасъ пройдетъ, вотъ только стоитъ обнять Сонечку погорячѣе.

Онъ уже и протянулъ къ ней руки, пьянѣя отъ прилива любви къ ней, какъ вдругъ она поблѣднѣла, глаза ея широко раскрылись, и она привстала, отстраняя его рукою и съ ужасомъ прислушиваясь къ разговору въ передней, гдѣ кто-то тихо, надтреснутымъ баскомъ, спрашивалъ:

— Что-жь она дома, или у ней гости?

— Отецъ!! — сказала она, вздрогнувъ и заломивъ руки въ отчаяніи. — Отецъ, это отецъ!!

И сдѣлала поблѣднѣвшему въ свою очередь Ивану Иванычу жестъ, какъ бы приглашая его исчезнуть.

IX

СПУГЪ Ивана Иваныча былъ тѣмъ болѣе мучителенъ, что настроеніе его передъ этимъ было невозмутимо радужное.

«Отецъ!?» — подумалъ онъ, и глаза его забѣгали.

Затѣмъ нестройнымъ вихремъ моментально пронеслись въ его умѣ слѣдующія мысли:

«Какъ отецъ? Какой отецъ? Ахъ, да! Ну куда же дѣваться?.. Въ окно? Но вѣдь это нелѣпо. Сонечка уважать меня потомъ не станетъ. Зачѣмъ же въ окно, когда можно въ другую комнату, въ эту темную, гдѣ стоитъ рукомойникъ? Или, нѣтъ. Зачѣмъ

же? Этотъ отецъ можетъ пойти туда прямо, застать меня тамъ, и тогда совсѣмъ сдѣлается ясно, что я за птица. Буду сидѣть себѣ просто такъ, будто я хорошій знакомый, пришелъ по порученію жены... А главное, и уйти никуда нельзя, двинуться съ мѣста нельзя, потому что вонъ дверь отворяется», заключилъ онъ въ ужасѣ и тоскѣ.

Дверь дѣйствительно отворилась, и вошелъ Свѣнцицкій, внося съ собой запахъ дорожной пыли и сѣна, потирая руки, сладко улыбаясь и любезно поглядывая изъ-подлобья на дочь и Ивана Иваныча, которые при видѣ его еще больше поблѣднѣли. Руки ихъ затряслись и ноги подкосились, но губы стали тоже улыбаться.

— Милая дочурка моя, радость моя! — началъ скороговоркой Свѣнцицкій и, подойдя къ дочери, крѣпко поцѣловалъ ее въ лобъ, разъ и другой, съ истинно отцовскимъ увлеченіемъ.

Это уже былъ сѣденькій, старикъ и ноги его плохо сгибались у колѣнъ, но видъ имѣлъ онъ бодрый, а загорѣлая красная шея свидѣтельствовала объ его здоровьѣ.

Повидавшись съ Сонечкой, онъ вопроси-

тельно, хоть и вѣжливо, остановилъ взглядъ на Иванѣ Иванычѣ, и Сонечка, водя въ тревогѣ пальцами одной руки по ладони другой и стараясь смотрѣть отцу прямо въ глаза, сказала:

— Мой другъ...

— Твой другъ? — переспросилъ отецъ, умильно погладивъ свою голову и наклонивъ ее наискосокъ къ Ивану Иванычу: — очень пріятно познакомиться съ другомъ моей дочери. Вѣроятно, честь имѣю видѣть Илью Петровича Лозовскаго? Помнишь, Сонечка, ты мнѣ показывала на святкахъ карточку? Можно сказать, поразительное сходство...

Кровь хлынула въ лицо дѣвушкѣ. «Онъ все знаетъ, онъ предупрежденъ», подумала она. «Онъ только притворяется, это ясно, потому что онъ тридцать разъ видѣлъ карточку Ильи Петровича и шутилъ надъ его разбойничьимъ видомъ и не могъ забыть его физіономіи такъ скоро...»

И въ изнеможеніи она опустилась на стулъ и стала торопливо подчивать отца, проливая мимо изъ чайника чай на скатерть. Тотъ, прищурившись, посмотрѣлъ на нее и сказалъ ласково, вскользь:

— Не трудись, дочурка, я, ты знаешь, до чаевъ не охотникъ...

И снова обратился къ Ивану Иванычу:

— Отчего же вы, любезнѣйшій, не пожаловали до сихъ поръ къ старику въ гости, да и ее притащили бы, да тамъ бы — пора ужь объ этомъ прямо сказать — и свадебку сыиграли бы? Хе-хе-хе!

Взявъ Ивана Иваныча за руку, онъ трясъ ее съ чувствомъ, черезчуръ даже сильно, и необыкновенно крѣпко жалъ, точно тисками, пронизывая его какимъ-то сѣрымъ, не то маслянымъ и слащавымъ, не то злымъ и лукавымъ взглядомъ.

— Другъ моей дочери! Очень пріятно! — повторилъ онъ съ наслажденіемъ и сѣлъ возлѣ Ивана Иваныча, который не понималъ, на яву это онъ все видитъ и слышитъ, или грезитъ, и не вѣрилъ своимъ глазамъ и ушамъ, пыхтя и не зная, что отвѣтить Свѣнцицкому. Наконецъ сообразилъ, что тотъ ровно, пожалуй, ничего не подозрѣваетъ и дѣйствительно принимаетъ его за Лозовскаго, что возможно, при слабости старческаго зрѣнія, такъ какъ карточки не даютъ надлежащаго представленія о человѣкѣ, да и давно видѣлъ ее Свѣнциц-

кій. Сообразивъ это, Иванъ Иванычъ призвалъ на помощь весь свой тактъ и составилъ моментально планъ обороны, впрочемъ смутный, причемъ разсчитывалъ и на откровенность, и на хитрость. «Съоткровенничаю и схитрю», рѣшилъ онъ, потѣя и вертясь на стулѣ, между тѣмъ какъ Свѣнцицкій, умильно щурясь, все смотрѣлъ на него въ ожиданіи отвѣта, и уходило время, такъ что могъ наступить моментъ, когда и самая находчивая фраза въ его устахъ могла бы показаться неловкой.

— Я дѣйствительно другъ вашей дочери,—началъ онъ пресѣкающимся голосомъ и смолкъ, и въ головѣ его поднялся опять сумбуръ, какой бываетъ лишь въ состояніи сильнаго охмѣленія, хотя и продолжалось это у него, какъ ему показалось, недолго.

— Слышалъ, слышалъ, — любезно сказалъ между тѣмъ Свѣнцицкій, и ноздри его плоскаго носа дрогнули; это замѣтила Сонечка и смертельно испугалась, потому что знала, что это не къ добру.

А Иванъ Иванычъ, чувствуя шумъ въ ушахъ и напряженно улыбаясь, какъ бы маскируя этой улыбкой двусмысленность своего положенія, думалъ, что самое луч-

шее было бы, если бы Сонечка не называла его своимъ другомъ, тогда и хитрость какая-нибудь удалась бы; теперь же, главное надо будетъ уйти поскорѣе, подъ благовиднымъ предлогомъ, взять на почтѣ лошадей, вызвать ночью Сонечку потихоньку (при помощи горничной, которой заплатить десять рублей) и увезти. «Вотъ это самое лучшее и единственное средство», рѣшилъ онъ и ободрился, такъ что могъ спокойнѣе произнести:

— Но я еще не столько другъ Софьи Павловны, сколько моя жена, которая вотъ сейчасъ должна была явиться сюда...

— Жена! — протянулъ старикъ и, прищурившись, посмотрѣлъ на Ивана Иваныча. — Такъ вы, Илья Петровичъ, женились?

Иванъ Иванычъ покраснѣлъ и засмѣялся.

— Я не Илья Петровичъ. Вы ошибаетесь... То-то я смотрю, что вы говорите такое и просто даже смѣшался... Я Чуфринъ!

— Чуфринъ! Ха-ха-ха! — весело засмѣялся, въ свою очередь, Свѣнцицкой, — какъ я однако ошибся! Что-жъ, пріятно и съ вами познакомиться...

И схвативъ руку Ивана Иваныча и про-

низывая его своимъ сѣрымъ взглядомъ, онъ такъ крѣпко сжалъ ее, что у того чуть не выступили слезы.

«Подлый старикашка, какъ жметъ!» подумалъ онъ съ досадой и хотѣлъ подуть на пальцы, но воздержался и улыбнулся старику, который сказалъ затѣмъ, обращаясь къ Сонечкѣ:

— Да что ты такая блѣдненькая, встревоженная, моя милая дочурка? Вотъ твои новые друзья хоть бы о тебѣ позаботились, да посовѣтовали бы тебѣ въ деревню, а они тебя все въ городѣ держатъ... Ахъ ты дочурка, дочурка!

Онъ взялъ ее за подбородокъ, а она боязливо скривила въ улыбку безкровныя губы.

Она думала:

«Скверная, скверная я, зачѣмъ боюсь его, зачѣмъ робѣю передъ нимъ? Вѣдь люблю его мало, совсѣмъ даже не люблю... Ваничка, да помоги же мнѣ! Скажемъ ему прямо, что любимъ другъ друга и хотимъ жить вмѣстѣ, что наше счастье въ этомъ... Слышишь, Ваничка? Слышишь? Догадайся и начни, а я тебя поддержу. Не хитри съ нимъ, Ваничка, потому что онъ хитрѣе тебя и кромѣ-

того онъ золъ на тебя и ненавидитъ тебя, я это вижу... Ваничка!»

И ей представлялось ясно, что отецъ пріѣхалъ именно затѣмъ, чтобъ помѣшать ихъ бѣгству — кто-нибудь написалъ ему, какая-нибудь Онупренко—и у ней холодѣли плечи отъ ужаса. Онъ казался ей всемогущимъ. Это не былъ одинъ человѣкъ для нея. Надъ нею черным кошмаромъ тяготѣла теперь власть милліоновъ такихъ отцовъ, горой стоящихъ другъ за друга, ревниво оберегающихъ свои роли владыкъ и образующихъ нѣчто незыблемое, роковое, и жестокое; и въ виду этой безчисленной арміи, правильно построенной, съ хорошо организованной командой, съ опытными военачальниками и традиціоннымъ главнымъ вождемъ, она считала себя ничтожной и слабой... Бороться съ такой силой! Бороться одной.

«Ваничка, Ваничка»! мысленно призывала она на помощь Ивана Иваныча.

Иванъ Иванычъ между тѣмъ укрѣпившись въ увѣренности, что придуманный имъ только-что планъ бѣгства самый лучшій, пуще всего боялся этой открытой борьбы, боялся, чтобы старикъ не догадался какъ-

нибудь, въ чемъ дѣло, и готовъ былъ распространиться о Лозовскомъ и наврать о немъ съ три короба, напримѣръ, что онъ его закадычный другъ и что Сонечка выходитъ замужъ за Лозовскаго на той недѣлѣ и прочее.

Но старикъ едва только услышалъ отъ него о Лозовскомъ, сдѣлалъ нѣсколько утомленное лицо, и Сонечка сейчасъ поняла, что это означаетъ: «надоѣла мнѣ вся эта комедія», и оборвалъ его слѣдующей фразой:

— Гдѣ же въ самомъ дѣлѣ ваша супруга? Было бы гораздо приличнѣе, — прибавилъ онъ, — простите за замѣчаніе, если-бы вы посѣщали дочь мою совмѣстно съ нею. Не правда-ли, дочурка?

И когда Иванъ Иванычъ, покраснѣвъ до ушей, всталъ и сказалъ:

— Сейчасъ она будетъ здѣсь... Вотъ я пойду, приведу ее...

— Свѣнцицкій еще разъ больно пожалъ ему руку и даже чуть-чуть скрипнулъ зубами, низко кивнувъ ему головой наискосокъ.

Видя, что Иванъ Иванычъ уходитъ, Сонечка встрепенулась.

— Такъ нельзя, — подумала она. — Ужь

если ему написали о томъ, что мы любовники (этими словами навѣрно написали, но какое пошлое выраженіе!), такъ пусть онъ и отъ насъ то же самое услышитъ. На чистоту лучше. Этакъ страха не будетъ, а то просто мука.

Она встала, чуть держась на ногахъ, блѣдная и гнѣвная, и крикнула:

— Ваня, стой!

Иванъ Иванычъ такъ и ахнулъ.

— Все испортила, — сказалъ онъ себѣ съ ужасомъ, — старикъ и то насторожилъ подъ конецъ уши. Что же дѣлать теперь? — и остановился передъ нею, играя шляпой и съ мучительнымъ недоумѣніемъ поглядывая на Свѣнцицкаго, который сталъ улыбаться ему совершенно по-пріятельски, что его окончательно поставило въ тупикъ и сбило съ толку. Мысли его опять спутались, точно въ хмѣлю, и былъ моментъ, когда онъ ничего не ощущалъ, кромѣ какого-то ныть въ груди, да шума въ ушахъ. Онъ автоматично подалъ руку дѣвушкѣ и очнулся наконецъ, когда услышалъ свой собственный вопросъ, сказанный имъ какъ бы сквозь сонъ, помимо воли:

— Софья Павловна, что съ вами?

Она сердито сверкнула на него глазами.

— Неужели вы такъ уйдете? — спросила она.

«Хорошо еще, что она на *вы* перешла» подумалъ онъ, «а той фразы, пожалуй, старикашка и не разслышалъ», и сказалъ, улыбаясь и дѣлая ей руками какіе-то знаки, которыхъ и самъ не понялъ бы, но въ полной увѣренности, что она ихъ не можетъ не понять:

— Повѣрьте, Софья Павловна...

И вдругъ замолчалъ и поклонился.

— Я скоро... — прибавилъ онъ, причемъ Сонечкѣ видъ его показался растеряннымъ и поведеніе двусмысленнымъ. Мучительное подозрѣніе мелькнуло въ ея умѣ.

— Ваня! — прошептала она въ тоскѣ, поднося руки къ блѣднымъ вискамъ.

Иванъ Иванычъ страдалъ нестерпимо. Ему больно было видѣть свою дорогую Сонечку, изнемогающею отъ тяжелаго чувства страха за грядущее, и въ то же время онъ злился и досадовалъ на нее, что она разрушаетъ его планы, не хочетъ понять, что въ данномъ случаѣ хитрость—все, и что черезчуръ большой откровенностью можно дѣйствительно сгубить дѣло. «Ахъ, эти женщины, думалъ

онъ, у нихъ совсѣмъ особая логика», и обмѣнивался съ Свѣнцицкимъ улыбками, радуясь что, по крайней мѣрѣ старикъ-то оказывается съ тугой сообразительностью, потому что другой на его мѣстѣ уже всю суть уразумѣлъ бы. Такимъ образомъ, рѣшивъ наконецъ поступить послѣдовательно и обнаружить силу характера и постоянно имѣя передъ глазами перспективу ночнаго бѣгства съ Сонечкой, Иванъ Иванычъ, скрѣпя сердце, быстро отступилъ отъ дѣвушки и пошелъ къ дверямъ. «Потомъ извинюсь, подумалъ онъ, разскажу, что, почему и какъ, если она еще не поняла, и она проститъ, потому что отъ этого результатъ получится хорошій». Сонечка еще разъ окликнула его, и ей показалось, что ежели онъ не вернется и оставитъ ее одну съ отцомъ, то ужь она и не увидится съ нимъ больше; но онъ, опасаясь новыхъ безтактностей съ ея стороны, вѣжливо махнулъ ей рукой и проговорилъ торопливо:

— Сейчасъ, сейчасъ, Полина Марковна придетъ сейчасъ!

И вышелъ.

На дворѣ стояла еще кибитка, въ которой пріѣхалъ Свѣнцицкій, и лошади фыр-

кали, а кучеръ ходилъ возлѣ нихъ, разминаясь. Иванъ Иванычъ быстро очутился на улицѣ, чувствуя, что теперь необходимо быть очень дѣятельнымъ и не зѣвать и, взявъ извощика, отправился на почтовую станцію и заказалъ къ часу ночи тройку. Затѣмъ поѣхалъ домой, чтобъ упросить Полину Марковну сейчасъ идти къ Сонечкѣ и сидѣть возлѣ нея, чтобъ той не было скучно и страшно. Но Полину Марковну не засталъ. Это его очень огорчило и даже взбѣсило. Ругаясь и ворча, онъ поспѣшно вытащилъ чемоданчикъ и сунулъ въ него нѣсколько рубахъ, пальто зимнее и пару платья. Потомъ пересчиталъ деньги, одѣлся по дорожному, и въ ботфортахъ и съ сакъ-вояжемъ черезъ плечо присѣлъ къ столу и написалъ нѣсколько прощальныхъ писемъ знакомымъ, на всякій случай и Полинѣ Марковнѣ. Было восемь часовъ. Онъ нетерпѣливо сталъ ходить по комнатамъ и напѣвать, въ ожиданіи срока, когда надо будетъ начать дѣйствовать, и между прочимъ разбиралъ и взвѣшивалъ свое поведеніе и Сонечки въ сценѣ съ отцомъ и пожималъ плечами, удивляясь, какъ такая умная дѣвушка могла потеряться до такой степени и наговорить столько вредныхъ ве-

щей. Хорошо еще, что онъ, Иванъ Иванычъ, во-время нашелся и кое-какъ поправилъ дѣло. Въ глубинѣ души однако онъ смутно сознавалъ, что самъ надѣлалъ не мало промаховъ, но въ чемъ они заключаются, никакъ не могъ опредѣлить, да и не старался. Настроеніе у него было во всякомъ случаѣ не радостное, и останавливаясь передъ окнами, онъ съ тревогой всматривался въ сумракъ вечера, медленно сгущавшійся и пронизываемый тамъ и здѣсь огнями. И въ слабомъ шумѣ, которымъ городъ заявлялъ о своемъ существованіи, ему чудились вздохи, чьи-то слезы и чьи-то стоны, упрекомъ отдававшіеся въ его груди. Онъ не могъ дольше ждать, не хватало терпѣнія и, повинуясь инстинктивному влеченію, бросился опять къ Сонечкѣ на квартиру. По пути не попалось ни одного извощика, и онъ шелъ по кривымъ тротуарамъ, спотыкаясь, чуть не бѣгомъ.

«Ахъ, Сонечка, Сонечка!» восклицалъ онъ мысленно, съ тоской и невыразимой любовью, «что ты надѣлала, право! Зачѣмъ всѣ эти откровенности? Вѣдь онъ, что ни говори, врагъ, главный врагъ—помѣха,—а съ врагами уловки и обманы дозволительны. На войнѣ, какъ на войнѣ!».

Затѣмъ онъ представлялъ себѣ, что было бы, если бы старикъ не пріѣхалъ такъ неожиданно, еслибъ онъ пріѣхалъ, положимъ, завтра или послѣ завтра, когда ихъ уже не, было въ городѣ. И пальцы его хрустѣли отъ нѣмой досады, потому что было бы тогда совсѣмъ другое, а главное не вышло бы этого тяжелаго недоразумѣнія между нимъ и Сонечкой. Онъ вздыхалъ, и въ немъ все трепетало, какъ у игрока, поставившаго на карту огромный капиталъ и ожидающаго съ тоской и азартомъ, чѣмъ кончится этотъ его безумный рискованный шагъ.

На поворотѣ улицы онъ столкнулся съ парой. Высокій мужчина велъ подъ руку высокую даму. Онъ прошелъ мимо, а потомъ оглянулся, и ему показалось, что то были Лозовскій и Полина Марковна. Но ему некогда было ворочаться назадъ, чтобъ удостовѣриться, они ли это, да и надобности не представлялось, какъ ни страненъ былъ на его взглядъ этотъ новый союзъ. «А можетъ, и случайно встрѣтились, это вѣрнѣе», заключилъ онъ и мгновенно забылъ о нихъ, потому что начался знакомый зеленый полисадникъ и въ воздухѣ послышался запахъ сирени и жасмина. Жадно взглянулъ Иванъ

Иванычъ на окна Сонечки. Тамъ горѣлъ огонь. Сердце его забилось съ облегченіемъ. «Можетъ быть, она теперь одна, старикъ спитъ или ушелъ куда-нибудь, подумалъ онъ, вотъ я все и объясню, такъ что даже и хорошо, что Полины Марковны не было дома, она могла бы напутать». У калитки онъ встрѣтилъ Машу, горничную Сонечки, и первымъ дѣломъ сунулъ ей деньги.

— Здравствуйте, Маша, — прошепталъ онъ.—Проведите меня, пожалуйста, къ барышнѣ, или вызовите ее ко мнѣ потихоньку, въ садикъ что ли, мнѣ надо сказать ей два слова. Да, можетъ, этого, что пріѣхалъ сегодня, нѣтъ съ нею?

— Ахъ, баринъ!..—прошептала горничная въ тревогѣ и смущеніи, закрыла свое толстое лицо рукой и замолчала.

Иванъ Иванычъ испугался.

— Что такое?—спросилъ онъ,—что съ барышней?

— Онѣ уѣхали,—отвѣчала она, принимая руку и боязливо вздыхая, — то-есть, ихъ увезли... Вы какъ ушли, папенька и говорятъ: «не умѣла пользоваться свободой, теперь я тебя подъ запоръ, голубушка»... Прямо и сказали это... А барышня такъ

и упали въ обморокѣ. Такъ зубки и сцѣпили. А папенька взяли ихъ подъ руки и сейчасъ, то-есть, вывели въ кибитку, а сами сѣли и кричатъ: «пошелъ!» А я кричу имъ: «вещи какъ же?» а они рукой махнули и кричатъ: «опосля!»

«Все погибло», подумалъ Иванъ Иванычъ, не соображая еще хорошенько, въ чемъ дѣло, и отказываясь соображать.

— А это кто же тамъ въ барышниной комнатѣ? — спросилъ Иванъ Иванычъ, не понимая, какъ же это онъ такъ равнодушенъ къ постигшему его горю, да и не вѣря горничной, хотя въ разсказѣ ея было все въ высшей степени правдоподобно.

— А это хозяйка вещи ихнія приводитъ въ порядокъ...

Иванъ Иванычъ пошелъ и удостовѣрился. Хозяйка, «отставная офицерша», какъ она себя величала, бойко поклонилась ему, и онъ выслушалъ отъ нея опять разсказъ о томъ, какъ увезли Софью Павловну. Потомъ вспомнилъ всѣ свои разговоры съ Сонечкой, всѣ ея клятвы и увѣренія, вспомнилъ, что было утромъ, улыбнулся и сказалъ хозяйкѣ съ убѣжденіемъ:

— Нѣтъ, это пустяки...

— Что пустяки?—спросила она и насмѣшливо посмотрѣла на него своими круглыми глазками.

— Пустяки вотъ это... что увезли... Она не надолго... Поѣду и возьму... Она моя... Понимаете, моя!!

Онъ произнесъ это горячо, но вдругъ ему сдѣлалось совѣстно, съ какой стати онъ говоритъ о Сонечкѣ съ этой бабенкой, и взялся за шляпу, сдѣлавъ самое спокойное и даже веселое лицо.

— До свиданія!—сказалъ онъ.

Отставная офицерша однако не отпустила его такъ легко и прочитала ему цѣлую лекцію о жестокости и бездушіи мужчинъ, которые «вотъ всѣ съ нашей сестрой такъ поступаютъ»... прибавила она и затѣмъ кокетливо погрозила ему пальцемъ и сказала:

— Попробовали бы со мной что-нибудь подобное... Вѣдь я знаю васъ! Знаю, какіе у васъ пустяки были съ Софьей Павловной! Пустяки! Ахъ вы...

Онъ отшутился, какъ-то машинально и глупо засмѣялся и ушелъ, пошатываясь. Теперь онъ ясно почувствовалъ, что что-то

разорвалось между нимъ и Сонечкой, что между ними легла бездна, и обморокъ дѣвушки служилъ краснорѣчивымъ доказательствомъ этого.

Онъ прошепталъ:

— А пожалуй, и дѣйствительно все погибло... Пожалуй... Но изъ-за чего?

И горько улыбнулся и вздохнулъ.

— Я-то не виноватъ,—сказалъ онъ затѣмъ со слезами.

Но въ сущности онъ еще не вѣрилъ, что его романъ такъ скоро кончился. И лишь постепенно ужасъ сталъ леденить его сердце и наросталъ, какъ лавина. Чувство одиночества обхватывало его. А когда онъ пришелъ домой, блѣдный и съ лицомъ, искаженнымъ тоской и отчаяніемъ, и увидѣлъ Полину Марковну, посмотрѣвшую на него спокойнымъ и скорѣе любопытнымъ, чѣмъ участливымъ взглядомъ, сознаніе, что онъ понесъ колоссальную утрату, невознаградимую, и что онъ во всей той сценѣ съ Свѣнцицкимъ игралъ самую низкую, глупую и презрѣнную роль труса, пронизало его умъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ внезапно понялъ, что Свѣнцицкій зналъ объ его отношеніяхъ къ Сонечкѣ и намѣреніи уѣхать съ нею въ

Петербургъ и, слѣдовательно, былъ предупрежденъ на этотъ счетъ кѣмъ-нибудь. Злость закипѣла въ немъ. Кѣмъ? Онъ пристально посмотрѣлъ на жену. Взглядъ ея былъ по прежнему безучастенъ, а во всей ея фигурѣ было какъ бы разлито спокойствіе торжества. «Она, это она и Лозовскій!» рѣшилъ онъ въ изступленіи, вспомнивъ и то, какъ она называла Сонечку «тварью», и какъ лицо ея было покрыто пятнами, когда затѣмъ она цѣловала «по родственному» эту дѣвушку и давала ему взаймы денегъ, и какъ двусмысленно вела она себя утромъ сегодня; и подбѣжавъ къ ней, онъ поднялъ надъ ней кулаки и яростно прохрипѣлъ, захлебываясь отъ ненависти къ ней:

— Прочь отъ меня, прочь, змѣя!

Но сейчасъ же ослабѣлъ, опустилъ въ изнеможеніи руки, поникъ головой и почувствовалъ, что въ немъ что-то умираетъ и уже больше не воскреснетъ. И злость его прошла и уступила мѣсто горькому отчаянію. Онъ упалъ на стулъ и, закрывъ лицо руками, зарыдалъ. Полина Марковна молча смотрѣла на него нѣкоторое время. Но потомъ подсѣла къ нему и стала ласково разспрашивать его и утѣшать. Слезы мужа тро-

нули ее, и она цѣловала его въ голову и обнимала, точно мать, болѣющая о сынѣ и прощающая ему всѣ обиды; и онъ не сопротивлялся.

ВСХОДЫ

I

ЗАНИМАЛАСЬ заря. Сонная рѣка зыблилась.

Молодой человѣкъ въ темномъ пиджакѣ и соломенной шляпѣ велъ подъ руку по отлогому берегу двухъ дѣвушекъ. Одна была одѣта въ кисейное платье съ широкими немодными рукавами. Русая коса змѣилась по ея спинѣ почти до пятъ. Другая, выше первой и стройнѣе, была въ синей кофточкѣ, расшитой серебряными шнурками, въ клеенчатой матроскѣ. Черты лица у ней были неопредѣленныя, дѣтскія, алый ротъ добродушно улыбался и хохоча она трясла плечами и закрывала глаза рукой.

Впереди этой группы, по дорогѣ, которая тянулась отъ пристани къ городу, шло попарно еще нѣсколько молодыхъ людей. Нѣкоторые шатались и напѣвали. Иные громко спорили.

Направо отъ нихъ неподвижно лежалъ, дремля въ сумракѣ разсвѣта, огромный садъ. Налѣво, по ту сторону грязнаго канала, бѣлѣли дома. Деревья вдали казались густыми, сизыми тѣнями. И въ прозрачной тишинѣ блѣднаго утра странно звучали веселые голоса молодежи.

Начался городъ. Изъ окна двухъэтажнаго дома высунулась старуха, тараща заспанные глаза, и опять спряталась. Улицы были пустынны.

Молодые люди мало-по-малу разошлись въ разные концы. Они кричали другъ другу: «До завтра!», «до свиданія!» и когда скрывались изъ виду, то нѣкоторое время еще долетали до ихъ слуха обрывки фразъ, произносимыхъ ихъ удаляющимися товарищами.

Между тѣмъ группа изъ двухъ дѣвушекъ и молодаго человѣка въ соломенной шляпѣ продолжала свой путь черезъ весь городъ.

Они болтали неумолчно и фамильярно называли другъ друга: «Пьеръ», «Мэри», «Фаничка». Чувствовалась ихъ взаимная близость. Улыбаясь, молодой человѣкъ поворачивалъ свое красивое лицо то къ одной спутницѣ, то къ другой, и тогда онѣ украдкой смотрѣли на него съ загадочной тоской.

Небо алѣло. Кружева на груди Мэри казались розовыми. Блестѣли серебряные шнурки на Фаничкѣ. Свѣжія щеки дѣвушекъ производили впечатлѣніе розъ и въ ихъ глазахъ сіяла молодая жизнь.

На выѣздѣ, за городомъ, стоялъ каменный домъ. Кругомъ высились могучіе тополи. Верхушки ихъ золотило солнце, когда здѣсь остановились молодые люди.

Мэри и Фаничка крѣпко пожали руку Пьеру, и онъ приподнялъ шляпу. Онъ стоялъ все время возлѣ нихъ, пока, въ отвѣтъ на звонокъ, не раздались на дворѣ тяжелые шаги. Тогда онъ отошелъ въ сторону. Дѣвушки торопливо оглянулись на него, послали ему воздушный поцѣлуй и исчезли въ раскрывшейся калиткѣ, вдругъ бросившей на него ослѣпительный лучъ. Когда калитка захлопнулась, и тѣнь снова окутала его, онъ вздохнулъ и побрелъ назадъ.

Городъ между тѣмъ просыпался и дома, улицы, сады, церкви утопали въ блескѣ золотаго утра; дулъ свѣжій вѣтерокъ, и пастухъ рѣзалъ воздухъ звуками своего рожка.

II

ТЬЕРЪ шелъ, изрѣдка встрѣчая крестьянокъ, несущихъ изъ сосѣдней деревни на рынокъ то кувшинъ молока, то горшочекъ съ масломъ,—кухарокъ, громко тараторящихъ и бойко посматривающихъ по сторонамъ,—мужиковъ, апатично возсѣдающихъ на возахъ съ мѣшками.

У крылечка маленькаго домика, выкрашеннаго свѣтлой краской, онъ остановился и постучалъ въ дверь, сначала робко, потомъ смѣлѣе. Наконецъ, сталъ барабанить и кричать: «эй, вы, проснитесь!» и постепенно терялъ терпѣніе. Дверь сотрясалась подъ ударами его кулаковъ.

Минутъ черезъ пять, занавѣска у окна заколыхалась, и изъ форточки выглянула его сестра, молодая женщина, въ ночномъ чепчикѣ, изъ подъ котораго на блѣдныя щеки ползли темнорусые локончики.

— Ты, Пьеръ? спросила она тихимъ голосомъ.—Что ты такъ стучишь! Мы всю ночь промучились съ Шурочкой. Сейчасъ отворю.

Она скрылась и затѣмъ, громыхнувъ осторожно желѣзнымъ болтомъ, впустила брата въ узенькую галлерейку.

Онъ улыбнулся привѣтливо, чтобъ загладить свою вину, и участливымъ шопотомъ спросилъ:

— Шурочкѣ хуже?

— Да, отвѣчала молодая женщина, вздохнувъ.—Мы боимся, Пьеръ. Конечно, бѣдная дѣвочка больна, но теперь что-то ужь очень... Сеня вчера даже гимнастикой съ ней не занимался. Пьеръ, если она умретъ, я съ ума сойду!

Губы у ней задрожали.

— Полно, Маша, произнесъ Пьеръ.

Онъ пошелъ на цыпочкахъ, точно хотѣлъ этимъ показать, что не всегда бываетъ грубъ, и что стучалъ по необходимости.

Въ концѣ галлерейки была дверь, обитая клеенкой. Молодая женщина остановилась тутъ и, готовясь проститься съ братомъ, начала вдругъ разспрашивать его, какъ ему гулялось. Она всегда разспрашивала его; жизнь у ней была скучная; и большимъ утѣшеніемъ было для нея знать, что́ дѣлается на бѣломъ свѣтѣ. Пьеру хотѣлось спать, но онъ, держась за ручку двери, отвѣчалъ, что было весело.

— Кто былъ да кто? спросила она, стараясь улыбнуться.

Онъ назвалъ имена.

— А Мэри и Фаничка были? продолжала она допрашивать брата и, сквозь слезы — слѣдъ недавняго горестнаго волненія—бросила на него лукавый взглядъ, который раздражилъ его.

— Были! сказалъ онъ, нахмурившись.

Сестра печально вздохнула и прекратила допросъ, сказавши:

— Ну, спи, не сердись.

Онъ торопливо пожалъ ея горячіе худые пальцы и вошелъ къ себѣ, жмурясь отъ солнечныхъ лучей, заливавшихъ комнату, и чувствуя головокруженіе, боль въ ногахъ и неодолимое желаніе лечь.

Онъ едва могъ опустить штору и откинуть одѣяло. Еще труднѣе было раздѣться. Когда же онъ легъ, то ему показалось, что его несетъ волна. Ему чудился лѣсъ, озаренный огнемъ костра, блескъ черной рѣки; сквозь синій дымъ мелькали смѣющіяся лица дѣвушекъ, друзей, все куда-то плыло, быстрѣе и быстрѣе, и наконецъ онъ заснулъ.

III

Въ двѣнадцати часамъ дня почти всѣ обитатели каменнаго дома, что на выѣздѣ, собрались на террасѣ съ трельяжемъ изъ дикаго винограда. Солнечные лучи лишь тамъ и сямъ пронизывали этотъ зеленый сводъ. Прямо въ рамѣ трельяжа виднѣлись клумбы съ настурціями и георгинами, группы деревьевъ. Въ глубинѣ — черезъ отворенныя настежъ стеклянныя двери—въ полусумракѣ обрисовывалась массивная мебель гостиной и тускло сіяла бронзовая люстра.

Полная дама лѣтъ пятидесяти, съ мясистой шеей, съ глубокими бороздами по обѣ-

имъ сторонамъ небольшаго носа, жирными щеками и рѣзко обозначенными мѣшками подъ глазами на выкатѣ, осанисто сидѣла въ креслахъ стариннаго фасона и курила изъ чубука. Свинцовый взглядъ ея былъ устремленъ въ садъ.

Старушонка, почти карлица, съ желтымъ лицомъ и слѣзящимися глазами, суетилась возлѣ этой дамы. Когда трубка тухла, она торопливо наклонялась и подносила къ ней зажженную спичку. Потомъ вздыхала и безпокойно озиралась по сторонамъ, приложивъ руку къ головѣ, какъ бы что-то вспоминая.

Кошки, сѣрыя, бѣлыя, черныя, пестрыя, различныхъ возрастовъ, наполняли террасу. Иныя грѣлись на солнцѣ, полузажмурившись, иныя играли, опрокидываясь граціозно на спину, или ласково слѣдили за сѣренькими птичками, порхавшими въ саду. Большой жирный котъ терся у ногъ полной дамы.

Эта дама была Нина Сергѣевна Лоскотина, мать Мэри и Фанички, которыя еще не выходили. Она поджидала ихъ къ чаю и завтраку и злилась, что ихъ нѣтъ.

— Антипьевна, ступай узнай о здоровьѣ

барышень! вдругъ сказала она, нетерпѣливо закладывая ногу за ногу и слегка поворачиваясь въ креслахъ.

Антипьевна ушла. Нина Сергѣевна, оставшись одна, скорбно потрясла головой. Будущее дочерей, непокорныхъ и своенравныхъ, представилось ей въ печальномъ свѣтѣ. Она искренно жалѣла ихъ, потому что любила. Одну, старшую дочь, она ужь потеряла. Она хотѣла, чтобы, покрайней мѣрѣ, эти не погибли. Но она была убѣждена, что онѣ погибнутъ — и именно отъ того, что пренебрегаютъ заведеннымъ въ домѣ порядкомъ. Развѣ Лиза не отъ этого погибла?

Размышляя, она все продолжала курить. Синій дымъ прозрачными клубами улеталъ въ садъ. Трубка начала хрипѣть.

Между тѣмъ Антипьевна вернулась. Вслѣдъ за нею на террасу вбѣжали обѣ дѣвушки. На нихъ были свѣжія шумящія платья — на Фаничкѣ изъ розовой батистовки, на Мэри — изъ палевой — и гладкіе большіе воротнички. Волосы на вискахъ у нихъ были влажны отъ недавняго умыванія. Онѣ обратились къ матери съ громкимъ восклицаніемъ Никогда онѣ этого не дѣлали, а теперь почему-то обрадовались, увидѣвъ ее. Имъ за-

хотѣлось также поцѣловать у ней руку. Но Нина Сергѣевна уклонилась отъ поцѣлуевъ и холодно посмотрѣла на нихъ. Онѣ сконфузились и громко затараторили о томъ, «какой, maman, этотъ лѣсъ за Десной — прелесть!» Нина Сергѣевна опять холодно посмотрѣла на нихъ, и онѣ окончательно смутились. Мэри, отойдя къ чайному столу, гдѣ блестѣли стаканы и серебряныя ложечки, бросила сестрѣ серьезный взглядъ. Она боялась матери. Фаничка уловила этотъ взглядъ и въ отвѣтъ безпечно улыбнулась, поднявъ черную бровь и скромно опустивъ сіяющіе лукавые глаза.

IV

ІЬЕРЪ — фамилія его была Рубанскій — проснулся въ часъ. Въ комнатѣ былъ полусумракъ, жаркій и душный. Молодой человѣкъ пытливо посмотрѣлъ на кругленькій столикъ у изголовья. Тамъ стоялъ стаканъ молока, стаканъ холоднаго чая и лежала на тарелочкѣ куча сдобныхъ кренделькoвъ. Онъ откинулъ назадъ длинные каштановые волосы и, принявъ позу поудобнѣе, протянулъ къ столику руку.

«Маша-таки не забываетъ меня!» — подумалъ онъ о сестрѣ и выпилъ молоко, чай и съѣлъ почти всѣ кренделькi.

Потомъ полежалъ еще нѣсколько минутъ; пробовалъ еще заснуть, но безуспѣшно; нѣкоторое время мечталъ о Мэри, о Фаничкѣ, о красивой дѣвушкѣ вообще; наконецъ, рѣшилъ встать.

Сунувъ ноги въ старыя лѣтнія ботинки, которыя служили ему вмѣсто туфель, онъ подошелъ къ столу, взялъ тамъ стклянку съ одеколономъ и влилъ часть его въ механическій умывальникъ. Ему казалось, что безъ этой эссенціи вода дѣйствуетъ слишкомъ грубо на кожу.

Умывшись, онъ поднялъ штору, расчесалъ волосы, сильно смачивая ихъ аѳинской водой, набросилъ на плечи шелковый бухарскій халатъ съ изорванными на локтяхъ рукавами, и сталъ чистить ногти маленькимъ стальнымъ инструментикомъ. Потомъ потеръ ихъ бѣленькой щеточкой. Въ заключеніе, мѣрно раскачиваясь всѣмъ корпусомъ и весело насвистывая, отшлифовалъ ихъ замшевымъ полиссуаромъ и бриллъянтовой пудрой. Руки у него были бѣлыя и узкія, и длинные ногти на пальцахъ имѣли блескъ розоваго жемчуга, какъ онъ самъ это замѣтилъ, самодовольно улыбнувшись.

На туалетъ онъ употребилъ почти часъ.

Какъ и всегда, онъ выглядѣлъ большимъ щеголемъ. Онъ чувствовалъ себя свободно въ хорошо скроенномъ платьѣ и безукоризненномъ бѣльѣ, съ широкими, низко опускающимися маншетами.

V

ОНЪ явился на половину сестры. Мужа Маши, Семена Семеныча Линина, еще не было. Но онъ сейчасъ долженъ былъ прійти со службы, и въ маленькой ситцевой гостиной, служившей разомъ и столовой, были уже сдѣланы приготовленія къ обѣду.

Маша сидѣла на диванѣ, поставленномъ въ углу комнаты, и вязала носки мужу. Возлѣ нея неподвижно полулежалъ ребенокъ, упершись затылкомъ въ подушку, закутанный въ розовое пикейное одѣяльце. Его ручки, безпомощно повисшія по сторонамъ, казались восковыми. Не было ни кровинки

въ крошечномъ желтоватомъ личикѣ, съ мелкими красивыми чертами. На лобъ спускалась жиденькая прядь темныхъ волосъ. И черные глаза, широко раскрытые, смотрѣли съ странной серьезностью.

— Агу, Шурочка, агу! — сказалъ Пьеръ, глядя ласково на дѣвочку и дотрогиваясь до ея подбородка своими душистыми и блестящими пальцами, между тѣмъ, какъ другую руку онъ протянулъ сестрѣ, любезно бросивъ ей: «Bonjour, Маша!»

Дѣвочка не обратила на него вниманія. Маша поздоровалась съ братомъ и сказала:

— Ей сегодня лучше. Животикъ, кажется, не болитъ. Тебѣ лучше, Шурочка?— спросила она, наклоняясь къ дѣвочкѣ; но та и на нее не обратила вниманія. — Совсѣмъ какъ старушка! — произнесла она, улыбнувшись брату. И стальныя спицы снова заходили въ ея большихъ худыхъ рукахъ.

Пьеръ пристально посмотрѣлъ на диванъ, подозрѣвая тамъ грязь, но сѣлъ, скрѣпя сердце. Взглядъ его затѣмъ устремился на столъ, гдѣ на скатерти, черными кучками, тамъ и сямъ, копошились мухи. «Скатерть вся въ пятнахъ», подумалъ онъ брезгливо.

Черезъ минуту онъ сообразилъ, что хорошо было бы пообѣдать въ трактирѣ. Поговоривъ съ сестрой о томъ, о семъ, и даже о погодѣ, онъ вдругъ, какъ бы вспомнивъ что-то, спросилъ небрежно, не можетъ ли она дать ему взаймы два рубля. Маша покраснѣла, засуетилась и достала изъ кармана своего платья смятую трехрублевку.

— Вотъ весь мой капиталъ! — сказала она робко.

Пьеръ взялъ деньги и сунулъ ихъ къ себѣ въ жилетъ.

Потомъ посидѣлъ еще нѣсколько минутъ, пощелкалъ пальцами передъ носомъ Шурочки, взглянулъ изъ окна на небо, сдѣлалъ предположеніе, что вечеромъ будетъ дождь, и вдругъ рѣшительно всталъ и ушелъ, какъ его ни упрашивала сестра остаться.

VI

МЕЖДУ тѣмъ Мэри и Фаничка, съ которыми Нина Сергѣевна упорно молчала весь день, гуляли по саду. Жара спадала. Но косые лучи солнца еще ярко горѣли на зеленой листвѣ деревъ, на піоніяхъ, гвоздикахъ, настурціяхъ, на желтыхъ дорожкахъ; и небесная лазурь была ослѣпительно блѣдна.

Мэри, чтобъ не загорѣть, накинула на голову бѣлый платочекъ. Фаничка шла въ своей матроскѣ, горячей отъ солнца, и лицо у ней было красное, а на лбу она чувствовала потъ.

Сестрамъ очень хотѣлось поговорить о Пьерѣ. Прежде — вчера и даже утромъ — имъ это было бы легко сдѣлать. Теперь ихъ что-то стѣсняло. Онѣ молчали, и каждая ждала удобнаго предлога. Но предлога все не было.

Мэри Пьеръ представлялся молодымъ человѣкомъ съ меланхолическими глазами и благородной душой. Можно сказать, онъ единственный въ своемъ родѣ молодой человѣкъ! Онъ такъ уменъ! Онъ сказалъ ей: «за гробомъ насъ ждетъ великое *можетъ быть!*» Онъ религіозенъ. Она съ сладкой тоской думала о немъ.

Фаничкѣ Пьеръ казался широкой натурой. Съ нимъ не бываетъ скучно. Онъ остритъ, хохочетъ, у него горячая кровь. И когда вчера они пили брудершафтъ, и руки ихъ сплелись у локтей, она почувствовала мускулы его, мощные и твердые. Онъ хорошъ, какъ богъ.

Онѣ продолжали идти молча.

Фаничка, временами, наклонялась по пути, срывала цвѣтокъ, подносила его къ носу, потомъ бросала. Мэри посматривала на сестру тоскливымъ взглядомъ.

Такъ онѣ сдѣлали по саду нѣсколько туровъ.

Жара все спадала. Чирикали въ чащѣ листьевъ какія-то птички, шумно перепархивали съ вѣтки на вѣтку воробьи. Домъ вдали бѣлѣлъ изъ-за деревьевъ, съ своей черной крышей и воздушнымъ балкончикомъ, выходившимъ изъ комнаты Мэри.

— «Ни за что не начну» — сказала себѣ Фаничка, не переставая думать о Пьерѣ.

Мэри подумала:

— «Пусть начнетъ Фаничка.»

И такъ какъ онѣ обѣ молчали и обѣ тосковали, иногда громко вздыхая то это вдругъ встревожило ихъ.

Сѣвши на скамейку у садоваго забора, повитаго хмѣлемъ, онѣ искоса подозрительно взглянули одна на другую.

Ихъ точно что въ сердце толкнуло. Щеки вспыхнули. Но лица были серьезны.

Онѣ не дали себѣ опредѣленнаго отвѣта на чувство, сжавшее ихъ грудь. Имъ было только больно. Но въ то же время для каждой изъ нихъ вдругъ стало ясно, что о Пьерѣ имъ нельзя ужь говорить

откровенно, даже совсѣмъ нельзя говорить.

Онѣ посидѣли нѣсколько минутъ, обмѣнялась двумя-тремя незначительными фразами и разошлись въ разныя стороны.

VII

ПОСЛѢ обѣда Лининъ — небольшаго роста человѣкъ, съ длиннымъ бритымъ лицомъ и золотистыми волосами, расчесанными посрединѣ — походилъ по комнатѣ съ Шурочкой, радуясь, что ей лучше. Онъ занялся съ дѣвочкой даже гимнастикой: положилъ ее навзничъ на диванъ и послѣдовательно согнулъ и разогнулъ ея ручки и ножки разъ десять, приговаривая: «разъ-два, разъ-два!» Маша вязала чулокъ и съ улыбкой смотрѣла на мужа. Вдругъ она услышала, что ее кто-то окликнулъ съ улицы въ открытое окно. Она повернула голову и ахнула: стояла Лиза

Лоскотина. Лиза пополнѣла и похорошѣла, у ней былъ двойной подбородокъ, и сѣро-голубые глаза ея ласково смѣялись. Она была въ перчаткахъ, въ лѣтнемъ свѣтломъ платьѣ и соломенной шляпкѣ. Маша протянула ей въ окно руку. Отъ радости она не могла говорить. Линицъ тоже увидѣлъ гостью и сталъ торопливо надѣвать сюртукъ, отвернувшись.

Начались разспросы: «какими судьбами?» «на долго ли?»

Лиза отвѣчала, что на нѣсколько дней и что пріѣхала на педагогическій съѣздъ, какъ сельская учительница.

Когда она вошла въ комнату, то поцѣловала Машу, крѣпко пожала руку Линину, который привѣтливо хихикалъ, и наклонилась къ Шурочкѣ. Видъ ребенка испугалъ ее. Она сострадательно нахмурила брови и спросила:

— Нездорова дѣвочка?

Маша сказала, что уже полгода Шурочка такая.

— У ней пепсинъ еще не выдѣляется, подхватилъ Лининъ: — въ этомъ вся бѣда.

— А нянька потихоньку кормила ее су-

помъ! — пояснила съ ужасомъ Маша. — Пришлось прогнать.

— И дѣвочка заболѣла?

— Да... Стала худѣть, худѣть...

Потомъ разговоръ опять перешелъ на Лизу, на общихъ знакомыхъ, на внутреннюю политику.

Лиза, впрочемъ, избѣгала этой послѣдней тэмы; но Лининъ хотѣлъ подѣлиться съ ней своими свѣдѣніями по этой части. Онъ торопливо передалъ ей имена политическихъ арестантовъ въ мѣстномъ замкѣ.

Лиза кивнула головой и немножко скосила глаза. Свѣдѣнія Линина были невѣрны. Но хотя ей хотѣлось сказать, что они невѣрны, она предпочла молчаніе.

Она смотрѣла на свою подругу, которая, бывало, съ такимъ наслажденіемъ вслухъ читаетъ Писарева и вся дрожитъ, на ея мужа, который тогда носилъ малорусскій костюмъ, сурово сплевывалъ и произносилъ полуслова, такъ-что многимъ казался умнымъ и положительнымъ человѣкомъ; и ей не вѣрилось, что въ нихъ произошла какая-то перемѣна. Все это было такъ еще недавно! Но перемѣна произошла — она ее чувствуетъ.

«Въ чемъ эта перемѣна?» — спрашивала она себя, пытливо посматривая кругомъ.

Она задала своимъ друзьямъ рядъ вопросовъ.

Они отвѣчали; и отвѣты были такіе, какіе она услышала бы отъ нихъ и прежде. Однако же отвѣты эти показались ей теперь пошлыми.

Самъ Лининъ, все время, пока у нихъ сидѣла Лоскотина, опасался, чтобъ его не заподозрѣли въ охлажденіи къ чему-то.

— Лизавета Павловна, — говорилъ онъ, значительно хмуря брови: — надѣюсь, что я сохранилъ и сохраню образъ человѣческій, хоть это подвигъ, можно сказать! Въ этакомъ-то омутѣ!?.. Въ болотѣ!?

Потомъ онъ сталъ жаловаться на бѣдность, на докторовъ, на прислугу. Тутъ Маша не утерпѣла: захотѣла непремѣнно сама разсказать Лизѣ про кухарку. Лининъ уступилъ женѣ, но перебивалъ ее, качалъ головой, произносилъ: «чушь, совсѣмъ не такъ было! чушь!» Маша, наконецъ, сконфузилась и замолчала. Тогда онъ съ удовольствіемъ докончилъ ея разсказъ.

Въ числѣ прочихъ новостей, онъ сообщилъ Лоскотиной и о Пьерѣ.

— Аристократа Богъ далъ! — сказалъ онъ, шаркнувъ ногой.

— Онъ теперь студентъ третьяго курса,— пояснила Маша, робко обращаясь къ Лизѣ: — а тогда, помнишь, былъ въ пятомъ классѣ...

— Помню, — сказала Лиза: — какже, помню...

— У него были тогда хорошіе уроки, онъ меня поддерживалъ, Лиза,—прибавила Маша еще боязливѣе.

Взглядъ Линина насмѣшливо съузился.

— Онъ и теперь готовъ, — продолжала Маша въ волненіи. — Согласись сама... Пріѣхалъ на лѣто... Правда урокъ имѣетъ... У губернаторши... Пятьдесятъ рублей... Но ему надо же одѣться!?.. Въ такой домъ, Лиза, согласись сама, надо являться не какъ-нибудь!..

Лиза кивнула головой. Она думала совсѣмъ о другомъ.

Черезъ минуту она спросила, не видаетъ ли кто ея сестеръ, Мэри и Фаничку?

Голосъ ея приэтомъ былъ спокоенъ, но она слегка опустила глаза.

Маша отвѣчала, что Нина Сергѣевна не велѣла пускать ее къ себѣ, какъ только

обнаружилось, что она помогала Лизину бѣгству; и съ тѣхъ поръ ей удавалось видѣть Мэри и Фаничку только случайно — гдѣ-нибудь на улицѣ.—Онѣ теперь большія и ихъ трудно узнать, заключила она.

— Вотъ аристократъ такъ втерся! — насмѣшливо заявилъ Лининъ и, желая сдѣлать лицо, похожее на лицо Пьера, некрасиво прищурился.

— Пьеръ у нихъ бываетъ, — сказала Маша. — Онъ вездѣ бываетъ, потому что принятъ у губернаторши.

— Какое счастье! — воскликнулъ Лининъ и посмотрѣлъ на Лизу смѣющимися глазами, подмигнувъ ей.

— Не счастье, — произнесла Маша: — но...

Она смѣшалась и покраснѣла. Потомъ, послѣ паузы, сказала:

— Не ты ли, Сеня, самъ жалѣлъ, что не можешь танцовать и не имѣешь манеръ, чтобъ попасть въ высшее общество?

— Я? — спросилъ Лининъ, и маленькіе глазки его сверкнули свинцовымъ блескомъ.— Я? — повторилъ онъ.

— Конечно, ты, кротко сказала жена.— Еще говорилъ, что тогда другая карьера

была бы... Пьеръ заранѣе устроиваетъ себѣ дорогу... Онъ юристъ... Ему нужна протекція. Ну, и дай ему Богъ! Зачѣмъ завидовать...

Голосъ ея чуть дрожалъ.

Лининъ сталъ смѣяться самымъ натуральнымъ смѣхомъ, какъ ему казалось; но Лиза была увѣрена, что это злой смѣхъ. Она поспѣшила сказать:

— Вотъ еслибы, Маша, Пьеръ устроилъ мнѣ свиданіе съ Мэри и Фаничкой. Я была бы ему очень благодарна!

— Онъ устроитъ!

— Попроси его...

— Лизочка, я тебѣ даю слово...

Друзья поговорили еще. Возвратились къ Шурочкѣ, къ прислугѣ, къ политикѣ. Наконецъ, Лиза встала и начала прощаться. Ее удерживали, клялись, что сейчасъ будетъ чай, хотѣли отнять у ней шляпку. Но она рѣшительно объявила, что уходитъ, и ушла, давъ слово зайти завтра.

VIII

ТЬЕРЪ скверно пообѣдалъ въ трактирѣ. Здѣшняя скатерть тоже была въ пятнахъ. Онъ побранилъ полового, сыгралъ партію на бильярдѣ съ сонным маркеромъ и вышелъ не въ духѣ. Звонили къ вечернѣ. Онъ вспомнилъ, что въ пять часовъ у него урокъ, и испугался, взялъ извощика и велѣлъ ѣхать: «къ губернатору». Это онъ произнесъ громко и раздѣльно.

Домъ губернатора, низенькій, но обширный, сѣрый, съ бѣлыми колонками, примыкалъ къ городскому саду. Домъ имѣлъ два главныхъ подъѣзда. Одинъ изъ нихъ былъ

украшенъ латунными фонарями, имѣвшими форму тюльпановъ, и назывался «подъѣздомъ ея превосходительства».

Дрожки Пьера остановились передъ этимъ подъѣздомъ. Взбѣжавъ по широкому крыльцу, молодой человѣкъ спросилъ у подскочившаго къ нему ливрейнаго лакея, дома ли Клавдія Аполосовна — губернаторша — и дома ли маленькій князь, хотя былъ увѣренъ, что послѣдній, во всякомъ случаѣ, дома. Этотъ маленькій князь былъ племянникъ Клавдіи Аполосовны и его ученикъ. На утвердительный отвѣтъ лакея, онъ высморкался въ душистый платокъ и посмотрѣлся въ зеркало, смахнувъ съ лица пыль. Потомъ отправился въ темноватую пріемную.

Какъ и всегда, Клавдія Аполосовна не заставила себя ждать и минуты. Она вышла къ нему съ самымъ любезнымъ лицомъ. Это было лицо тридцати-лѣтней красавицы, нѣжное и бѣлое, безъ пушинки, съ умными, не глубокими глазами и усталымъ блѣднымъ ротикомъ. Она чуть-чуть гнулась впередъ, и на ней было простое сѣрое платье съ кружевами, а на прозрачной съ синими жилками рукѣ, которую она протянула Пьеру, блестѣлъ тоненькій золотой обручикъ.

Пьеръ ей казался застѣнчивымъ молодымъ человѣкомъ, и поэтому она всякій разъ старалась быть съ нимъ возможно ласковѣе; но сквозь этотъ ласковый тонъ проглядывало снисходительное и даже полупрезрительное чувство. Лицо ея улыбалась, глаза были холодны.

Подавъ руку Пьеру, она слегка потянула его за собой, точно считала его неспособнымъ самостоятельно двигаться. Онъ семенилъ ногами, чтобы не впутаться въ ея шлейфъ, и вообще вствовалъ себя неловко.

Слѣдующая комната была свѣтлая, вся блѣдно-палеваго тона. Она была ему хорошо знакома и всегда навѣвала на него холодъ.

Маленькій князь поклонился учителю. Онъ уже разложилъ на классномъ столѣ тетради и книги. Это былъ мальчикъ лѣтъ тринадцати, съ огромной бѣлокурой головой, выстриженной такъ, что издали онъ казался плѣшивымъ, и съ узенькими глазками.

Клавдія Аполосовна считала своей обязанностью присутствовать при урокахъ. Она и теперь взяла работу и сѣла недалеко отъ Пьера.

Пьеръ зналъ, что смущаться ему этимъ

нечего; что еслибы онъ даже и заврался, Клавдія Аполосовна ничего не замѣтитъ; однакожь, онъ былъ смущенъ.

Впрочемъ, урокъ кончился благополучно. Маленькій князь усердно учился. Онъ отлично рѣшилъ задачи, и Пьеръ похвалилъ его. Исполнивъ свой долгъ, онъ собралъ книги и тетради, опять поклонился учителю и молча вышелъ.

— У него теперь гимнастика, любезно сказала Клавдія Аполосовна и встала. Глаза ея съ снисходительнымъ любопытствомъ смотрѣли на Пьера, и, какъ бы на прощанье, она улыбалась ему.

Пьеру надо было уходить. Онъ поклонился, Клавдія Аполосовна снова протянула ему руку.

— Приходите, небрежно сказала она ему: — вечеромъ, десятаго...

Онъ пріятно улыбнулся и покраснѣлъ. Хотѣлъ что-то сказать, но ничего не сказалъ, и только сдѣлалъ шагъ назадъ.

— «Вотъ дикарь!» подумала Клавдія Аполосовна по-французски и взглянула на него сквозь прищуренныя рѣсницы. Потомъ съ утонченной любезностью объяснила ему, что она будетъ рада ему во всякомъ слу-

чаѣ, но что радость ея будетъ особенно искренна, когда окажется, что онъ танцуетъ.

— Я танцую, сказалъ Пьеръ.

Клавдія Аполосовна улыбнулась и любезно кивнула ему головой, что могло означать: «какъ это кстати, что вы танцуете!» а также: «Ну, теперь съ Богомъ!»

Пьеръ понялъ это въ послѣднемъ смыслѣ. Черезъ полчаса онъ былъ дома.

IX

Выслушавъ сестру, онъ сказалъ: «хорошо»! Онъ радъ былъ предлогу повидать Мэри и Фаничку. Потомъ переодѣлся, напился съ Лининими чаю и отправился къ Лоскотинымъ часовъ въ восемь, когда облака стали лиловѣть, а солнце совсѣмъ закатилось за крыши.

Онъ засталъ на террасѣ одну Нину Сергѣевну. Она сидѣла въ своей неизмѣнной позѣ, курила изъ чубука и была, какъ всегда, окружена кошками. Она любила Пьера за почтительность и за то, что онъ, кажется, не былъ зараженъ нигилизмомъ. Однажды, она даже видѣла его въ церкви.

Она привѣтствовала его теперь, однако, съ нѣкоторою суровостью и, сказавъ: «здравствуйте!», повернула къ нему свои желтоватые бѣлки, не отнимая отъ губъ мундштука, что придало ей негодующій видъ. Пьеръ не испугался, сѣлъ и, нагнувшись, ласково потрепалъ любимаго кота Нины Сергѣевны.

— Вы меня надули, произнесла она, пустивъ клубъ дыма.

Онъ посмотрѣлъ на нее, сдѣлавъ самое невинное, недоумѣвающе лицо. Но она сидѣла въ профиль и не глядѣла на него. «У ней цѣлый пудъ жира на шеѣ!» невольно подумалъ Пьеръ. И затѣмъ сейчасъ же началъ:

— Я васъ надулъ? Вы меня обижаете, Нина Сергѣевна. Впрочемъ, я знаю, на счетъ чего вы говорите. Барышни поздно вернулись? Но вотъ вамъ объясненіе. Мадамъ Федотова ни за что не согласилась отпустить ихъ со мною пѣшкомъ. А коляска ея—возьми да и сломайся, еще на той сторонѣ. Кучеръ пьянъ. Вѣдь вамъ извѣстно, какая теперь прислуга. Послали за новымъ экипажемъ. Ну, прошелъ часъ, другой. Наконецъ — есть экипажъ. Тогда что же?

(«Господи, какая у ней шея!» подумалъ онъ опять) — Марья и Фанни Павловна доставляются домой самой Федотовой. Правда, уже не рано, свѣтаетъ. Но онѣ доставляются домой самой Федотовой! Увѣряю васъ. Спрашивается, неужели я тутъ хоть сколько-нибудь виноватъ?

Нина Сергѣевна снова повернула къ нему свои желтоватые бѣлки, но на этотъ разъ, повидимому, съ благосклоннымъ выраженіемъ.

На порогѣ позади Пьера остановилась Мэри. Она слышала, что онъ лжетъ, и хотя это была невинная ложь, ей она не понравилась. Она хотѣла бы, чтобы Пьеръ никогда не лгалъ, ни по какому поводу. Но Фаничка, выглядывавшая изъ-за плечъ Мэри, изъ глубины гостиной, была въ восторгѣ. «Онъ ужасно милъ», говорила она себѣ. «Милъ, милъ!» почти шептала она.

Пьеръ, услышавъ шорохъ за собой и увидѣвъ Мэри и Фаничку, всталъ и пріятельски имъ улыбнулся. Онѣ вышли на террасу. Тогда онъ поздоровался съ ними просто, какъ хорошій знакомый, но безъ малѣйшаго оттѣнка вчерашней фамильярности. Онъ чувствовалъ надъ собой бодрствующее

око Нины Сергѣевны, хотя фактически оно было устремлено въ садъ.

Этого чувства не были, конечно, чужды и Мэри, и Фаничка. Нина Сергѣевна нарочно молчала, чтобы дать свободу молодымъ людямъ бесѣдовать, но это молчаніе особенно стѣсняло ихъ.

Вошла горничная, потомъ Антипьевна, съ бѣлой скатертью въ рукахъ, и накрыли столъ для вечерняго чая.

Небо между тѣмъ потухало. Розо-жемчужныя облачка тускнѣли. Вѣяло прохладой. Въ саду вставали тѣни.

— «Теперь вотъ по аллеямъ походить бы, а тутъ сиди, точно подъ арестомъ, думалъ Пьеръ. — Я чаю и не хочу. Когда-жь я барышнямъ секретъ насчетъ Лизы передамъ?»

Онъ съ тоской посмотрѣлъ на затылокъ Нины Сергѣевны. И съ такой же тоской посмотрѣли въ ту же сторону дѣвушки.

Принесли самоваръ накладнаго серебра, который подавали только при гостяхъ, поставили посуду, закуски.

Нина Сергѣевна любила разливать чай. Она вздохнула, отдала Антипьевнѣ свой чубукъ и, опершись на ея плечо, встала. Пе-

редъ самоваромъ стояло уже другое удобное кресло, и она заняла его, кряхтя. Въ послѣднее время она съ трудомъ передвигалась съ мѣста на мѣсто.

По лѣвую сторону стола сѣла Мэри, по правую — Фаничка. Пьеръ сѣлъ противъ Нины Сергѣевны. Онъ почувствовалъ теперь непосредственно на себѣ ея взглядъ, и ему сдѣлалось неловко. Онъ опустилъ глаза и сталъ смотрѣть на самоваръ, въ выпукломъ зеркалѣ котораго блестѣла полоска неба, темнѣла зелень сада.

— Что-жь новаго въ городѣ? спросила его Нина Сергѣевна, заваривъ чай.

Онъ сказалъ, что десятаго будетъ вечеръ у губернаторши.

Сказавши это, онъ поднялъ глаза и опять встрѣтилъ взглядъ Нины Сергѣевны. И опять ему сдѣлалось неловко; онъ замигалъ и, наклонившись къ маслу и редискѣ, сталъ торопливо ѣсть.

— Вы будете? спросила Фаничка.

— Да, отвѣчалъ онъ. — Клавдія Аполосовна сама пригласила.

«Еще бы, не пригласить его!» подумала Фаничка и сказала:

— Мнѣ хотѣлось бы тоже быть.

«Рублей пятьдесятъ выйдетъ на туалеты!» подумала Нина Сергѣевна, такъ какъ не сомнѣвалась, что дочери ея будутъ на этомъ вечерѣ.

Потомъ она разлила чай и передала всѣмъ стаканы. Сама она пила изъ огромной фарфоровой чашки.

Мало-по-малу стемнѣло. Небо сдѣлалось синимъ. Тамъ и сямъ задрожали надъ вершинами деревъ блѣдныя звѣзды. На террасу пришлось подать свѣчи въ высокихъ подсвѣчникахъ, съ кенкетами.

Разговоръ попрежнему тянулся вяло. Пьеръ разсказывалъ о своихъ полукурсовыхъ экзаменахъ. Мэри внимательно слушала его и еще внимательнѣе смотрѣла на его лицо, овальное, съ кудрявой бородкой и кругловатымъ ртомъ.

Столъ былъ невеликъ. Скатерть спускалась такъ, что лежала у всѣхъ на колѣнахъ. Пьеру вдругъ пришла идея. Онъ вчера особенно близко сошелся съ этими милыми дѣвушками. И чтобы какъ-нибудь скрасить скуку бесѣды, онъ искусно протянулъ ногу и пожалъ носокъ ботинки Мэри.

Мэри вспыхнула и слегка отодвинула свой стулъ.

Онъ смутился, и взглядъ его еще разъ встрѣтился съ строгимъ взглядомъ Нины Сергѣевны.

«Что если замѣтила?» съ ужасомъ подумалъ онъ, жмурясь.

Однако, черезъ нѣсколько минутъ, онъ оправился. Онъ сообразилъ, что Нина Сергѣевна ничего не замѣтила. Вслѣдствіе этого, онъ рискнулъ пожать ногу Фаничкѣ.

Фаничка энергически отвѣчала на его пожатіе.

Тогда онъ вдругъ оживился. Онъ разсказалъ нѣсколько анекдотовъ о профессорахъ и заставилъ улыбнуться даже Нину Сергѣевну. Одинъ изъ этихъ профессоровъ любилъ кошекъ, и такимъ образомъ легко было перейти къ анекдотамъ о кошкахъ. Онъ выказалъ себя забавнымъ и свѣдущимъ собесѣдникомъ, и все время чувствовалъ, съ огромнымъ наслажденіемъ, какъ нога Фанички, теплая и мягкая, обутая въ прюнелевую туфельку, жала его ногу.

Когда пробило въ гостиной десять, Нина Сергѣевна встала и перешла въ прежнее кресло, чтобы покурить. Молодые люди тоже встали. Пьеръ подумалъ съ сожалѣ-

ніемъ, что пора уходить. Но Фаничка неожиданно крикнула:

— Пойдемте въ садъ!

И сбѣжала съ террасы. Онъ послѣдовалъ за нею, а за нимъ Мэри.

— Не забывайте, что я ложусь въ половинѣ одиннадцатаго! сурово сказала въ темноту Нина Сергѣевна.

— О, maman! крикнула Фаничка не то успокоительно, не то просительно.

Въ аллеяхъ стоялъ мракъ, но не черный, а какой-то голубоватый, и деревья ласково простирали свои вѣтки, и садъ, казалось, былъ полонъ таинственной прелести.

Фаничка, у которой былъ хорошій голосъ, стала напѣвать.

Пьеръ разнѣжился и чуть не забылъ, зачѣмъ собственно пришелъ къ Лоскотинымъ. Но все-таки вспомнилъ. Отойдя отъ дома на порядочное разстояніе, онъ взялъ дѣвушекъ за руки и объявилъ, что въ городѣ Лиза, сестра ихъ, и очень хочетъ видѣть ихъ. Завтра, часовъ въ пять, она будетъ у Лининыхъ.

Сестрамъ очень захотѣлось повидаться съ Лизой. У каждой радостно забилось сердце, сразу вспомнилось многое такое, о чемъ онѣ

и думать уже забыли. Онѣ съ большимъ волненіемъ дали Пьеру слово, что зайдутъ завтра къ Машѣ, въ пять часовъ.

Послѣ чего, они прошлись раза два по саду и, какъ ни настаивала Фаничка, которой хотѣлось посидѣть еще, кромѣ того, въ бесѣдкѣ, вернулись на террасу.

Пьеръ взялся за шляпу.

Нина Сергѣевна благосклонно простилась съ нимъ и наказала ему поблагодарить мадамъ Федотову за экипажъ и за вниманіе къ ея дочерямъ. Федотова не была знакома съ Ниной Сергѣевной, и Нинѣ Сергѣевнѣ доставляла большое удовольствіе мысль, что есть въ городѣ богатыя и почтенныя личности, которыя — *однако* — такъ или иначе заискиваютъ у Лоскотиной.

Пьеръ ушелъ, и на прощанье Фаничка значительно пожала ему руку. Все ея тѣло было проникнуто радостнымъ трепетомъ, ей хотѣлось смѣяться, плакать, кружиться по комнатамъ. Но Мэри была серьезна. Только румянецъ черезчуръ разыгрался на ея правильномъ лицѣ.

X

По уходѣ Пьера, Нина Сергѣевна благословила дочерей и отправилась спать, а барышни пошли на свои антресоли.

Антресоли эти состояли изъ четырехъ комнатокъ. Двѣ изъ нихъ были завалены разнымъ хламомъ, а въ двухъ обитали Мэри и Фаничка.

Комната Мэри выходила въ садъ и была снабжена воздушнымъ балкончикомъ. Комната Фанички была обращена окнами во дворъ.

У Мэри было очень чисто. На полу былъ постланъ коврикъ, постель была подъ кисейнымъ пологомъ. Въ углу стоялъ кіотъ, и передъ иконами всегда мерцала лампадка. На окнѣ зеленѣли фуксіи.

Въ комнатѣ Фанички обыкновенно господствовалъ безпорядокъ. Огромная софа занимала много пространства, и шерсть тамъ и сямъ лѣзла изъ этой мебели. Постель была смята. Одинъ башмакъ стоялъ на столѣ, другой валялся на полу. Стѣны были исписаны стихами и счетами бѣлья.

Мэри сѣла въ задумчивой позѣ на порогѣ своего балкончика. Взглядъ ея долго былъ устремленъ въ садъ. Новое чувство, овладѣвшее ею, сдѣлало ее серьезной. Грудь ея ныла отъ тоски, когда она думала о Пьерѣ. Теперь ей не было бы весело съ нимъ, и она не послала бы ему воздушнаго поцѣлуя.

Она впомнила, что онъ пожалъ ей ногу. Ей опять сдѣлалось стыдно, какъ и тогда. «Что онъ хотѣлъ этимъ выразить?» подумала она. «Мнѣ это не нравится». — «Не нравится!» повторила она почти громко и гнѣвно нахмурилась.

Ночь была удивительно тихая, прозрачная. Луна всходила. Деревья чернѣли внизу. Воздухъ былъ пропитанъ ароматами цвѣтовъ. Вокругъ сада дремали тополи. Не хотѣлось спать, хотѣлось мечтать, грезить и видѣть сны на-яву.

Мэри все сидѣла на порогѣ, обнявъ колѣна, поднявъ голову, и глаза ея были широко раскрыты.

Въ синемъ небѣ теплились тысячи звѣздъ. Ихъ трепетъ, казалось, отвѣчалъ біенію ея жилъ, странный восторгъ овладѣвалъ ею...

— Боже мой, сдѣлай такъ, чтобы *онъ* меня полюбилъ! прошептала она вдругъ, чувствуя слезы на глазахъ.

Фаничка, между тѣмъ, оставшись одна въ своей комнатѣ, зажгла лампу и долго ходила изъ угла въ уголъ. Никогда еще не испытывала она такого волненія. Она не сомнѣвалась, что любитъ и любима. Воображеніе ея рисовало ей картины самыя плѣнительныя. Она видѣла себя на колѣнахъ передъ матерью, которая благословляетъ ее на бракъ съ Пьеромъ. Видѣла себя въ церкви, въ бѣломъ газовомъ платьѣ, въ цвѣтахъ. Потомъ она много танцовала на своей свадьбѣ, и грудь ея высоко дышала, точно она ужь устала отъ этихъ танцевъ. Она шептала нѣжныя фразы Пьеру на ухо, и онъ жалъ ей руку, а она склонила ему на плечо голову. Въ вискахъ у ней шумѣло, щеки ея пылали. Она на ходу стала раздѣваться, швырнула на софу платье, затѣмъ

бросилась на постель, полежала нѣсколько минутъ, сложивъ надъ головой руки, и въ волненіи чуть-чуть била ногой по кровати, пока туфелька не упала на полъ. Тогда она вскочила и, чувствуя ознобъ, отъ котораго кожа на ея бѣлыхъ рукахъ, выше локтей, сдѣлалась вдругъ шероховатой, сѣла къ столу, взяза листъ бумаги и написала на немъ крупнымъ почеркомъ:

ИСТОРІЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ.

ПОЭМА.

Она до самаго утра сидѣла надъ этимъ листомъ, но ничего не прибавила къ написанному. Когда свѣтъ лампы смѣшался съ робкимъ блескомъ зари, Фаничка съ недоумѣніемъ посмотрѣла кругомъ, провела рукой по горячему лбу, сожгла бумагу и тихо легла.

Она крѣпко спала. Когда она проснулась, было еще рано. Но Мэри уже встала и слышно было, какъ она молится и шепчетъ: «во имя Отца и Сына и Святаго Духа»... Фаничка повернулась на другой бокъ и опять заснула.

XI

По время завтрека, Фаничка выпросила у Нины Сергѣевны шесть рублей на шляпку, такъ-какъ матроска ея потрескалась отъ солнца. Мэри подумала, что Фаничка несправедлива, потому что не бережетъ вещей и, не имѣя вкуса, покупаетъ всегда что-нибудь некрасивое и непрочное, но непремѣнно блестящее. «Она теперь, пожалуй, съ стеклярусомъ купитъ», подумала она, сухо взглянувъ на сестру. Тѣмъ не менѣе, ей было пріятно, когда Фаничка попросила ее идти вмѣстѣ въ магазинъ.

— Хорошо, сказала она тихо. — Но ты не забыла?... — Тутъ она замолчала и бросила ей серьезный взглядъ.

Фаничка подняла бровь и пожала плечомъ.

— Что такое?

— Лиза...

— Ахъ, да! вскрикнула Фаничка.—Нѣтъ, какже! Но сначала пойдемъ за шляпкой, а потомъ ужь къ Лининой. Мнѣ хочется, чтобъ Лиза видѣла меня въ новой шляпкѣ.

Сейчасъ же послѣ обѣда онѣ вышли изъ дома. Было пыльно и знойно. Фаничка нѣсколько разъ порывалась взять извощика, но Мэри находила, что это не разсчетъ. Онѣ прошли бульвары, гдѣ полузасохшія деревья бросали на землю скудныя тѣни, прошли мимо огромнаго стариннаго собора, за сквозной градой котораго виднѣлся чистенькій и, казалось, прохладный дворъ, мимо ряда бакалейныхъ лавокъ, откуда выглядывали оживленныя лица евреевъ, и, наконецъ, глазамъ ихъ представился магазинъ модъ мадамъ Сесиль, единственный сносный во всемъ городѣ. Тутъ Мэри выбрала сестрѣ шляпку изъ свѣтлой соломки, съ чернымъ бархатомъ и блѣднокрасными лентами. Фа-

ничкѣ она очень понравилась, хотя, по ея мнѣнію, слѣдовало бы сквозь бантъ продѣть стальную пряжку, какъ вотъ на другихъ шляпкахъ, да и блестокъ не мѣшало бы нанизать. «Это я сама ужь сдѣлаю», подумала она. Она надѣла шляпку, отдала деньги и хотѣла бросить свою матроску. Но Мэри положила матроску въ коробку и взяла съ собой. Француженка, вся въ пудрѣ и бантикахъ, проводила дѣвушекъ до дверей магазина и удостоила Мэри глубокаго поклона и любезной улыбки, а Фаничкѣ ласково кивнула головой.

Онѣ отправились къ Лининымъ. Въ передней ихъ встрѣтилъ Пьеръ. У него было очень серьезное лицо, и на немъ былъ черный сюртукъ. Онъ помогъ запыхавшимся дѣвушкамъ снять накидки и объявилъ шепотомъ, что Лиза уже тутъ и что у Маши случилось несчастье.

— Какое? спросили онѣ въ одинъ голосъ.

Но такъ-какъ изъ передней дверь была отворена и легко можно было видѣть, что дѣлается въ сосѣдней комнатѣ, то, инстинктивно посмотрѣвъ туда, онѣ замѣтили, что на столѣ, покрытомъ бѣлой скатертью и

парчей, лежитъ что-то маленькое, въ цвѣтахъ, и поняли сами, что это смерть.

Мэри поблѣднѣла, Фаничка слабо вскрикнула. Пьеръ далъ имъ пройти и остановился у порога, молча понуривъ голову. Къ нимъ подошла Лиза и нѣжно пожала имъ руки. Маша тоже подошла къ нимъ.

— Что дѣлать! сказала она имъ.

Пальцы ея хрустнули.

Лининъ стоялъ у стола и изрѣдка махалъ рукой надъ маленькой покойницей; мухи лѣзли ей въ неподвижно прищуренные глаза.

Увидавъ Мэри и Фаничку, онъ сухо поклонился имъ издали. Потомъ сказалъ:

— Умерла сегодня ночью, въ одиннадцать часовъ. Завтра хоронить голубку будемъ. Вотъ тебѣ и доктора!

Онъ больше ничего не сказалъ и продолжалъ махать рукой. Постороннимъ было тяжело смотрѣть на него и на Машу. Имъ хотѣлось поскорѣе уйти. Мэри хотѣла сказать Лининой что-нибудь утѣшительное, но слова не шли съ языка. Горе было чужое. Ктому-же близость сестры Лизы волновала ее, и она была полна мыслью о ней. Фаничка тоже почти забыла непріятное впечатлѣніе отъ парчи и цвѣтовъ на столѣ и

робко и вмѣстѣ жадно смотрѣла на старшую сестру, удивляясь, что она такая красавица и не имѣетъ вида несчастной. «Поцѣловать бы ее», думала она.

Пьеръ подошелъ къ дѣвушкамъ и шепотомъ предложилъ имъ перейти въ его комнату, гдѣ онѣ могутъ поговорить между собой наединѣ. Лиза кивнула ему головой. Сестры посмотрѣли сострадательно на Машу и вышли вздохнувъ.

Это былъ вздохъ облегченія.

XII

Въ комнатѣ Пьера пахло духами, и на окнѣ, въ бѣленькой вазѣ, стоялъ букетъ свѣжихъ розъ. Порядокъ былъ образцовый. Постель была застлана красивымъ лѣтнимъ одѣяломъ, и наволочки на подушкахъ были, очевидно, только-что надѣты. Стульевъ было немного; но все-таки было на чемъ сѣсть.

Лиза поцѣловала сестеръ. Глаза у ней были влажны. Шесть лѣтъ назадъ, и Мэри, и Фаничка были дѣвочками, а теперь — какъ выросли, какъ перемѣнились!

Нѣкоторое время всѣ молчали. Въ эти мгновенія Лиза и Мэри были особенно рас-

троганы. Онѣ смотрѣли одна на другую, съ чувствомъ безпредѣльной вдругъ проснувшейся любви. Ихъ тянуло другъ къ другу. «Я не знала, что я ее такъ люблю», говорила себѣ Лиза, и то-же самое думала Мэри. И оттого, что онѣ были такъ взволнованы, имъ казалось, что еслибъ онѣ начали говорить, то сказали бы что-нибудь плоское или холодное, и инстинктивно воздерживались отъ фразъ и словъ. Фаничка улыбалась и оглядывала комнату Пьера радостнымъ взглядомъ и такимъ же взглядомъ смотрѣла на Лизу. Лиза, хотя вся вдругъ отдавшаяся Мэри, видѣла этотъ взглядъ, и у ней составилось внезапное представленіе о Фаничкѣ, какъ о миломъ, но несерьезномъ ребенкѣ. Она пожала ей руку и еще разъ поцѣловала ее и затѣмъ обняла Мэри за талію.

Это движеніе какъ-бы вывело сестеръ изъ напряженнаго состоянія. Первый восторгъ прошелъ. И когда чувство любви стало спокойнѣе, явилась потребность говорить. Лиза и Мэри почти одновременно заговорили, а теперь уже не боялись сказать что-нибудь некстати.

Разговоръ состоялъ сначала изъ коротенькихъ вопросовъ и отвѣтовъ. Они слѣдовали

одинъ за другимъ очень быстро и касались самыхъ разнообразныхъ вещей. — «Что, какъ въ деревнѣ?» — «Трудно ли жить?» — «Отчего не писала?» — «Въ деревнѣ прелесть». — «Жить трудно». — «Не писала — считала дѣвочкой». — «Что maman?» — «Maman здорова». — «Есть книги?» — «Беремъ въ библіотекѣ». — «Ну, какъ у васъ вообще?» — «Вообще скучно». — «А ты надолго пріѣхала?» И такъ далѣе.

Главное было то, что сестры чувствовали, разговаривая, какъ онѣ сильно интересуются другъ другомъ. Глаза ихъ блестѣли, и розовыя губы одинаково улыбались, и румянецъ игралъ на щекахъ.

Взглядъ у Мэри былъ глубокій, темный, и Лиза была убѣждена, что такой взглядъ есть признакъ сильной натуры. Когда Мэри была дѣвочкой, Лиза почти не любила ея. Но теперь ей было непонятно, какъ она могла не любить ея.

Мэри, въ свою очередь, любовалась Лизой. Ей нравилось, что Лиза похожа на мать. У Лизы было такое же лицо, какъ и у Нины Сергѣевны, но только совсѣмъ молодое, свѣжее, съ ямками на щекахъ и подбородкѣ, и глаза были не тусклые, а

яркіе и кроткіе, немного задумчивые. Ростомъ Лиза казалась выше матери, потому что полнота у ней была умѣренная, и она была стройна, какъ Фаничка.

Мэри подумала:

«О, еслибъ она помирилась съ maman!»

И сейчасъ же сказала это, причемъ застѣнчиво посмотрѣла на нее и схватила ея руку.

Фаничка присоединилась къ Мэри.

— Лиза! крикнула она. —Ахъ, Лиза! Мы опять зажили бы вмѣстѣ на антресоляхъ!

Лиза улыбнулась и пожала руку Фаничкѣ. Потомъ, обратившись къ Мэри, сказала серьезнымъ тономъ:

— Этого нельзя, Мэри. Это никогда не будетъ. Это ужасно тяжело, но этого никогда не будетъ.

Мэри замѣтила, что въ ея глазахъ блеснули слезы, хотя голосъ былъ твердъ.

— Лиза! Лиза! крикнула Фаничка.

Лиза не отвѣчала. Она отошла къ окну и машинально понюхала розовый букетъ. Потомъ возвратилась на прежнее мѣсто и, горячо обнявъ Мэри, сказала, глядя ей прямо въ глаза влажнымъ ласковымъ взглядомъ:

— Мэри, я крѣпко тебя полюбила. Ты, должно быть, серьезная и работящая головка. У тебя хорошее сердце. Ты поймешь, почему для меня никогда не можетъ быть возврата къ прошлому, когда узнаешь, что заставило меня уйти отъ maman. Мнѣ жаль тебя, Мэри. Но надо тебѣ открыть глаза. И ты, Фаничка, должна узнать правду. Но я не могу вамъ сказать этого теперь, сейчасъ, потому что мнѣ тяжело вамъ исповѣдываться. Совѣсть у меня чиста, дѣло у меня чистое, а тяжело. Вы — почва нетронутая. Вамъ больно будетъ. Пусть въ другой разъ.

Мэри и Фаничка съ недоумѣніемъ смотрѣли на нее.

— Завтра... или лучше послѣ-завтра... сказала она, поблѣднѣвъ. — Это мой долгъ! сказала она потомъ, какъ-бы про себя, и, вставъ, пожала имъ руки.

Она ушла съ странной торопливостью. И онѣ тоже ушли, не заходя къ Лининымъ. Пьеръ вынесъ имъ въ галлерейку накидки. Одѣвая Фаничку, онъ взялъ ее за талію. Она покраснѣла и бросила ему косой взлядъ, не то сердитый, не то смѣющійся. Пьеръ почувствовалъ, что любитъ ее.

Мэри между тѣмъ была такъ погружена въ мысли о Лизѣ и о томъ, что она назвала своимъ долгомъ, что ушла, забывъ попрощаться съ Пьеромъ и совершенно не замѣтивъ его глубокаго поклона. Уже на улицѣ вспомнила она объ этомъ, и ей стало досадно на себя и на свою разсѣянность.

XIII

На другой день Фаничка смотрѣла изъ окна своей комнаты и думала о Пьерѣ. Она видѣла нетолько дворъ, но и часть улицы. Улица была, по обыкновенію, пустынна. Но Фаничка надѣялась, что, можетъ быть, кто-нибудь пройдетъ по ней, и на немъ будетъ соломенная шляпа и темный пиджакъ. Почти часъ простояла она въ одной и той же позѣ: улица все была пустынна. Изрѣдка только поднимался невысокій вихрь и, кружась, убѣгалъ вдаль. Фаничка вздохнула и хотѣла отойти отъ окна.

Но на перекресткѣ показался священникъ въ траурной ризѣ, потомъ розовый гробикъ, пестрая кучка людей. Фаничка узнала среди нихъ Пьера и вздрогнула. Она набросила на себя накидку, надѣла шляпку, перчатки и впопыхахъ вбѣжала къ Мэри.

— Хоронятъ дѣвочку Лининыхъ... Вотъ сейчасъ... пронесли... — начала она торопливо. — Пойдемъ, Мэри...

— Ты хочешь идти? — сказала Мэри, у которой голова болѣла отъ безсонной ночи.— Видишь, я совсѣмъ не одѣта... Нѣтъ, я не пойду. Зачѣмъ? — спросила она вдругъ, наморщивъ брови. — Не пойду я, Фаничка! Меня это разстроитъ вконецъ...

Фаничка махнула рукой и кинулась къ дверямъ.

— Смотри, maman очень разсердится! — сказала Мэри, слегка повысивъ голосъ.

Фаничка опять махнула рукой и почти бѣгомъ спустилась съ лѣсенки. Она ни съ кѣмъ не встрѣтилась въ коридорѣ, осторожно пробралась черезъ гостиную, въ виду Нины Сергѣевны, сидѣвшей къ ней спиной, неслышно прошла по залѣ, хотя задѣла за кактусъ и оставила на его колючкахъ часть бахромки отъ накидки, и очутилась на улицѣ.

Процессія была еще недалеко. Вѣтеръ сильно рванулъ шляпку съ Фанички, и она, придержавъ ее обѣими руками и наклонивъ голову, быстро пошла впередъ, между тѣмъ какъ ея платье, хлопая, било ее по ногамъ. Потомъ, минуты черезъ двѣ, вѣтеръ утихъ, она почувствовала запахъ ладана, услышала пѣніе священника и дьячка, и когда подняла голову, то увидѣла, что идетъ позади Пьера. Онъ велъ подъ руку Машу. Дальше шли еще какія-то барыни, съ недовольными лицами, старушка съ ястребинымъ носикомъ. Лининъ самъ несъ гробикъ Шурочки. Сѣдые волосы священника развѣвались изъ-подъ камилавки по вѣтру, и на порыжѣломъ бархатѣ ризы ярко сіялъ и сверкалъ широкій серебряный позументъ. Кадильница дымилась синимъ дымкомъ. Впереди процессіи шатался большой черный крестъ.

Фаничка почувствовала себя неловко среди чужихъ людей. Вѣдь и Маша была ей чужая — съ ней она была почти незнакома. Она пришла сюда ради Пьера, и ей стыдно сдѣлалось, что она какъ-будто обрадовалась этимъ похоронамъ, чтобъ повидаться съ

нимъ. Ей захотѣлось вернуться домой. Но не было силы. Пьеръ былъ такъ близко!

Улица кончилась за садомъ Лоскотиныхъ, и путь расширился. Надо было идти по выгону. Вдали хмурились деревья кладбища и блестѣлъ куполъ новой кладбищенской церкви.

Тутъ вѣтеръ поднялся съ прежней силой. Пыль врѣзалась въ глаза. Ленты у шляпокъ захлопали. Дамы повернулись назадъ, держа руки у колѣнъ. Пьеръ тоже повернулся жмурясь.

Вдругъ онъ увидѣлъ дѣвушку и кивнулъ ей головой.

— Маша, сказалъ онъ: — Фанни Павловна!

Онъ обрадовался Фаничкѣ такъ искренно, что она не могла этого не замѣтить, и сердце ея сильно забилось.

Вѣтеръ опять упалъ. Маша взяла Фаничку подъ руку и сказала:

— Благодарю васъ за вниманіе.

Она была блѣдна и похудѣла. На щекахъ, возлѣ носа, видны были слѣды отъ высохшихъ слезъ. Локончики ея растрепались.

— Вы знаете, начала она тихо: — какъ она умерла? Бѣдненькая! Я смотрю, что

она такъ спокойно лежитъ въ своей кроваткѣ. Думаю себѣ, кажется, не дышетъ. Встаю въ темнотѣ и подхожу къ ней. Но не вѣрю, что она не дышитъ. Подхожу — чувствую, ручки холодныя. Тутъ я испугалась. Взяла да палецъ ей въ ротикъ положила — неужели, думаю, и въ ротикѣ холодно? Боже мой, вдругъ вскрикнула она надорваннымъ шепотомъ: — а язычекъ у ней, какъ ледъ!

Онъ крѣпко оперлась на руку Фанички и положила ей на плечо голову. Но сейчасъ же, сдѣлавъ надъ собой усиліе, выпрямилась и опять пошла прежней походкой.

У Фанички скатилась слеза. Ей жаль стало эту бѣдную мать. И на минуту она забыла о Пьерѣ.

Процессія подвигалась. Лининъ крѣпился. Онъ усталъ, но продолжалъ самъ нести свою Шурочку и даже подтягивалъ священнику чуть слышнымъ баритономъ: «Святый Боже, Святый Крѣпкій...»

Вотъ жалобно зазвучали колокола. Фаничка вздрогнула. Всѣ остановились. Священникъ что-то читалъ и пѣлъ. Потомъ опять пошли торопливой походкой, широко

шагая. Кладбище было близко-слышно было, какъ шумятъ его березы; и спѣшили скорѣе похоронить маленькій розовый гробикъ, отъ котораго всѣмъ было тяжело...

XIV

ПОСЛѢ похоронъ, участвующіе въ процессіи разбрелись въ разныя стороны. Маша не сдѣлала поминальнаго обѣда, и нѣкоторыя дамы нашли, съ самымъ недовольнымъ выраженіемъ лица, что такъ и слѣдуетъ, потому что покойница — крошка. Священникъ, прячя деньги въ широкій карманъ подрясника, сказалъ Линину, обводя безоблачное небо тусклымъ взглядомъ:

— Скажите, какой вѣтеръ! Отчего бы?

Лининъ произнесъ:

— Движеніе воздуха...

Священникъ вздохнулъ и сказалъ:

— Да, физика... Теперь все физикой объясняютъ...

И, мудро помолчавъ, вдругъ поклонился, съ пріятной улыбочкой подалъ Линину руку, любезно качнулъ камилавкой Машѣ и пошелъ къ церкви съ своимъ причетникомъ.

Фаничка и Пьеръ стояли вмѣстѣ во все время печальной церемоніи. Когда все кончилось и всѣ стали расходиться, они тоже пошли какъ-будто домой, но имъ хотѣлось побыть наединѣ другъ съ другомъ, и они вскорѣ очутились на другомъ концѣ кладбища.

Здѣсь деревья были старѣе и вѣтвистѣе, образуя надъ головой почти сплошной зеленый сводъ. Стройныя елочки росли подъ защитой высокихъ березъ. Могилы осѣли и дубовые кресты на нихъ почернѣли отъ времени и пошатнулись. Кое-гдѣ виднѣлся бугоръ свѣжей земли. Рѣдко попадались памятники, бѣлые, съ зелеными украшеніями, или мраморные, обнесенные чугунной рѣшеткой. Кладбище это было бѣдное, потому что богачей хоронили не тамъ, а въ монастырѣ.

Фаничка долго молчала. Пьеръ тоже молчалъ. Онъ велъ ее подъ руку и поддерживалъ, когда она спотыкалась о могилки дѣтей, густо поросшія сорными травами. Они шли и меланхолически смотрѣли по сторонамъ.

Наконецъ, Фаничка тихо сказала:

— Куда мы идемъ?

— Домой, отвѣтилъ Пьеръ.

Она взглянула на него, поднявъ бровь. Онъ улыбнулся.

— Нѣтъ, не домой, сказалъ онъ: — но сейчасъ — вотъ видите, канавка — кончится это кладбище... На меня оно навѣваетъ тоску... Да и на васъ — честное слово! Итакъ, кладбище кончится, а за нимъ начнется поле...

Онъ указалъ рукой. Между стволами березъ, за неглубокой, осыпавшейся кававой, желтѣла густая рожь, еще зеленоватая, и мягко волновалась, то почти приникая къ землѣ, то вдругъ распрямляясь и качая въ разныя стороны своими безчисленными колосьями.

— Ну, поле... Ну, что-жь?.. сказала Фаничка, глядя на рожь и думая, что maman дѣйствительно не похвалитъ ее за ея учас-

тіе въ похоронахъ. Въ то-же время она подумала о дамахъ, которыя шли въ процессіи и которыя могли замѣтить, что она вдругъ исчезла вмѣстѣ съ Пьеромъ. Ей сдѣлалось досадно, она покраснѣла. Но невольно прижалась къ Пьеру.

— Какъ что-жь? подхватилъ между тѣмъ Пьеръ и ласково посмотрѣлъ ей въ глаза. У него были мягкія, длинныя рѣсницы, какъ и у ней, и взглядъ его, казалось ей, горѣлъ чарующимъ блескомъ, такъ что она потупилась, готовая во всемъ повиноваться ему. — Мы перейдемъ поле, продолжалъ Пьеръ:—и посидимъ полчаса гдѣ-нибудь... въ затишьи... Тамъ, я знаю, есть прелестный оврагъ... весь въ шиповникѣ...

— Я знаю, робко сказала Фаничка. — Но я думала, что мы пройдемся только по кладбищу.

— Нѣтъ, нѣтъ, какъ можно! вскричалъ Пьеръ: — пойдемте туда!

Потомъ онъ прибавилъ:

— Мнѣ хочется вамъ что-то сказать...

Она спросила:

— Что?

И сердце ея тревожно забилось.

Онъ наклонился къ ней.

— Этого нельзя сказать сразу, прошепталъ онъ.

— Отчего? прошептала она, нѣжно сжимая его руку. — Скажите сразу, сейчасъ. Прошу васъ.

Онъ подумалъ.

— Ну, хорошо, сказалъ онъ.—Но только все-таки пойдемте туда... Знаете, я васъ люблю, Фаничка. А вы меня?

Глаза его заблистали. Онъ обнялъ ее и ждалъ отвѣта.

Фаничка посмотрѣла на него влажнымъ, счастливымъ взглядомъ и сказала:

— Зачѣмъ отвѣтъ?

И тихо засмѣялась.

— Ну, вотъ вамъ отвѣтъ! сказала она и протянула губы къ его уху, причемъ онъ улыбаясь наклонилъ голову.

— Я васъ тоже люблю! произнесла она чуть слышнымъ шепотомъ. Въ горлѣ у нея что-то прохрипѣло, колѣна ея слегка подкосились. Пьеръ подхватилъ ее за талію и покрылъ поцѣлуями ея лицо.

— Пойдемте же! сказалъ онъ съ тоской.

Но ей опять вдругъ вспомнились дамы и maman. Она повернула голову въ страхѣ, не подсматриваетъ ли кто за ними. За низко-

опустившейся сквозной зеленью плакучей березы стоялъ приземистый черный крестъ, точно человѣкъ, распростершій руки. Фаничка отшатнулась отъ Пьера. Ужасъ овладѣлъ теперь ею. Она побѣжала.

— Фаничка! крикнулъ Пьеръ. — Что съ вами? Неужели мы не пойдемъ туда?

Онъ догналъ ее и взялъ за локти.

— Фаничка! сказалъ онъ съ упрекомъ.— Фаничка!

— О, Пьеръ! сказала она. — Я боюсь. Ради Бога, проводите меня домой... Ради Бога!

Пьеръ никогда не видѣлъ ее такою. Она была блѣдна и, казалось, постарѣла. Онъ робко спросилъ:

— Чего жь вы боитесь?

— Всего, отвѣчала она.

— И меня? спросилъ онъ съ улыбкой.

Она сказала:

— И васъ. Я васъ люблю, Пьеръ, но боюсь, что я съ вами одна.

— О, какъ вамъ не стыдно! сказалъ Пьеръ. — На васъ просто это противное кладбище дѣйствуетъ. Слышите, Фаничка? Посмотрите-ка на меня и вернемтесь...

— Нѣтъ, сказала Фаничка упрямо.

Онъ замолчалъ вздохнувъ. Они вышли на дорожку. Пока тянулось кладбище, Фаничка все дрожала. Но когда она увидѣла, что выходъ уже близко, то мгновенно успокоилась.

— Знаете что! сказала она тутъ.—Пойдемъ туда въ другой разъ. Хорошо?

Пьеръ что-то промычалъ — Фаничка не разслышала. Онъ былъ сердитъ на нее.

Они вышли изъ воротъ и очутились на просторѣ.

Фаничка сказала:

— Посмотрите, какое странное небо сдѣлалось... сѣро-желтое... А на солнце можно смотрѣть и нисколько не больно...

Пьеръ поднялъ голову, глянулъ кругомъ и опять промычалъ что-то.

— И вѣтра нѣтъ, сказала Фаничка.

Румянецъ вернулся на ея щеки, глаза горѣли попрежнему, губы были красны и влажны. Она пожала нѣсколько разъ подъ накидкой руку Пьеру, но онъ не отвѣчалъ на ея пожатіе. Тогда ей захотѣлось, во что бы ни стало, расшевелить его.

— Что съ тобой? спросила она его съ тихимъ смѣхомъ.

— Съ тобой? перепросилъ онъ, и вдругъ лицо его прояснилось.—Ты меня обидѣла, Фаничка. Но дай мнѣ слово, что ужь больше такой сцены не повторится!

Фаничка покраснѣла.

— Прости меня! сказала она шепотомъ.

Онъ пожалъ ей подъ накидкой руку.

— Надняхъ пойдемъ туда? сказалъ онъ.

Она кивнула головой.

Они были въ виду знакомыхъ тополей и вошли въ улицу. Потянулся заборъ сада. Фаничкѣ показалась, что въ одной изъ щелей сверкнулъ чей-то яркій глазъ. Она ускорила шагъ.

У воротъ Пьеръ сказалъ ей:

— А пока до завтра... Лиза вѣдь васъ будетъ ждать непремѣнно, ну, и увидимся. Линины уѣзжаютъ на нѣсколько дней въ деревню къ его роднымъ... Такъ что въ квартирѣ свободно... До завтра, Фаничка!

Онъ поклонился и торопливо пошелъ домой. Фаничка, съ сильно-бьющимся сердцемъ, пробралась на антресоли. Тамъ никого не было. Она бросилась къ окну, чтобы успѣть увидѣть еще разъ Пьера. Но онъ уже скрылся изъ вида. Только опять пробѣжали одинъ за другимъ невысокіе

вихри. Небо вдругъ стало свинцовымъ. Громко хлопнула калитка. Въ воздухѣ завертѣлся клочекъ бѣлой бумаги, и вдругъ на дворѣ, съ земли, сѣрымъ столбомъ, поднялась пыль, віясь и крутясь, и стекла въ окнахъ слабо задребезжали.

XV

За часъ до прихода Фанички, Нина Сергѣевна получила пригласительное письмо отъ Черемисовыхъ — отъ Клавдіи Аполосовны и ея мужа—на вечеръ десятаго. Оно обрадовало ее и опечалило. «Дай Богъ, подумала она,—чтобъ все обошлось въ пятьдесятъ. Пожалуй, и цѣлыхъ семьдесятъ вылетитъ. Лоскотины не могутъ явиться въ общество какъ-нибудь.» Она положила возлѣ себя письмо и стала курить, производя особенно много дыма и сурово посматривая на Антипьевну.

— Позови-ка барышень, сказала она.

Антипьевна отправилась на верхъ, и Мэри вскорѣ пришла, застегивая на ходу кофточку.

— А Фаничка? спросила ее Нина Сергѣевна.

— Фанички нѣтъ...

— Гдѣ-жь она?

— Увидала изъ окна... чьи-то похороны и пошла...—сказала Мэри, не глядя на мать.

Нина Сергѣевна помолчала.

— Отлично! произнесла она затѣмъ.

Черезъ нѣкоторое время она сказала:

— Этого еще недоставало!

Потомъ прибавила саркастически:

— Плакальщица!

Потомъ вскричала:

— Нѣтъ, это невыносимо!

И сильно топнула ногой, придавивъ любимаго своего кота, который, въ испугѣ, шмыгнулъ съ террасы въ кусты мяукая. Тутъ весь корпусъ Нины Сергѣевны заволновался, руки и плечи затряслись, лицо налилось кровью. Она схватила чубукъ и замахнулась на Мэри.

Дѣвушка поблѣднѣла. Она растерялась до того, что не могла тронуться съ мѣста, и только протянула руку въ видѣ щита.

— Прочь! крикнула Нина Сергѣевна задыхаясь.

Блѣдное лицо Мэри раздражало ее.

— Прочь, говорю! крикнула она и ударила Мэри по рукѣ.

Мэри слабо застонала и отшатнулась.

Тогда гнѣвъ Нины Сергѣевны такъ же скоро упалъ, какъ и выросъ. Его замѣнилъ стыдъ. Ей захотѣлось броситься къ Мэри и покрыть ее поцѣлуями. Но что-то помѣшало. Что-то прошептало ей: «Не роняй своего достоинства, ты вѣдь мать». Она сидѣла въ своемъ креслѣ и тяжело дышала, не то удовлетворенная, не то виновная, страстно желая какъ-нибудь мирно покончить всю эту исторію и не зная какъ. Была минута, когда она ждала, что Мэри подойдетъ къ ней и поцѣлуетъ у ней руку. Но Мэри не подходила. Новая досада начинала закипать въ ея груди. Наконецъ, она рѣшилась сама позвать дочь.

— Мэри! сказала она съ усиліемъ.

Мэри сидѣла въ гостиной и тихо плакала. Услышавъ зовъ матери, она поспѣшила вытереть слезы и явилась къ ней.

— Я погорячилась, сказала Нина Сергѣевна, глядя въ садъ: — ты тутъ нипричемъ.

Я сердце сорвала... Ты пойми мое положеніе, Мэри! Я отвѣчаю за васъ передъ Богомъ и людьми! Что могутъ сказать о Фаничкѣ, когда узнаютъ, что она таскается одна по какимъ-то похоронамъ?

Она замолчала. Мэри тоже молчала. Она подумала: «Фаничка, можетъ быть, не одна, а съ Пьеромъ». И эта мысль, которая и раньше приходила ей, была для нея больнѣе удара, полученнаго отъ матери.

— Вотъ письмо Черемисовыхъ, сказала затѣмъ Нина Сергѣевна дочери, какъ бы въ утѣшеніе. — На, прочти!

Мэри прочитала.

— Черезъ недѣлю... надо спѣшить... начала Нина Сергѣевна, все больше и больше успокоиваясь.—Туалеты надо... по сезону. Теперь, впрочемъ, не разберешь что—весна или лѣто... У madame Сесиль, конечно... Сегодня или завтра поѣзжай къ ней... Я дамъ денегъ.

Она пошевелила губами и, съ облегченіемъ вздохнувъ, закурила трубку.

— Найди Ваську! сказала она Антипьевнѣ, держа въ зубахъ янтарный мундштукъ.

Мэри постояла на террасѣ и, понуривъ голову, медленно сошла въ садъ.

Она не думала ни о балѣ, ни о платьяхъ. Рука у ней болѣла, но она и о ней не думала. Она простила матери, какъ простила ей и многія другія такія же вины. Она была убѣждена, что мать добрая. Она не думала даже о сестрѣ Лизѣ, хотя всю предыдущую ночь Лиза не выходила у ней изъ головы. Она думала теперь только о Пьерѣ и Фаничкѣ. Мысль, что они вмѣстѣ, терзала ее.

XVI

ВИХРЬ со двора перенесся въ садъ. Деревья зашумѣли, и листья и свѣжія зеленыя вѣтки стали вертѣться въ воздухѣ, и что-то затрещало и рухнуло наземь. То упалъ самый старый тополь, загромоздивъ цвѣтникъ передъ террасой. Весь садъ волновался, все никло, трепещущая зелень казалась блѣдной. Нина Сергѣевна во-время покинула террасу, но забыла взять табачницу; черезъ секунду, она увидѣла въ стеклянныя двери гостиной облако желтой пыли, которое быстро исчезло въ общемъ вихрѣ. Домъ дрожалъ. Въ комнатѣ было темно, точно внезапно смерклось.

— Ахъ, Фаничка, Фаничка! воскликнула Нина Сергѣевна съ искренней тревогой.

— Фаничка пришла, угрюмо замѣтила Мэри, собираясь идти на антресоли.

— Пришла? радостно сказала Нина Сергѣевна. — Ну, слава Богу! — Она перекрестилась. — Ты почемъ знаешь? спросила она ее затѣмъ съ недовѣріемъ.

— Видѣла, отвѣтила Мэри. — Въ заборѣ щель... Нечаянно увидѣла...

Она смутилась и остановилась передъ окномъ, уныло глядя на упавшій тополь.

— Позови Фаничку... Приходите обѣ ко мнѣ! сказала ей Нина Сергѣевна. — Боже, что дѣлается! Непремѣнно обѣ приходите, повторила она нахмурившись.

Мэри ушла.

Вихрь понесся дальше, но вѣтеръ продолжалъ дуть, наклоняя деревья и кусты въ разныя стороны, безпорядочный, зловѣщій. Небо низко висѣло надъ землей, темное, съ желтоватымъ отсвѣтомъ. Гдѣ-то, въ неопредѣленной дали, чуть слышно грохотало. И казалось, что сумракъ, все собою наполнявшій, слабо мерцаетъ.

Нина Сергѣевна боялась грозы. Когда пришли барышни, причемъ Фаничка, которой Мэри все уже передала, мило улыбалась, потому что она всегда такъ улыбалась,

чувствуя себя виноватой, — Нина Сергѣевна велѣла имъ сѣсть на диванѣ, гдѣ и сама сидѣла, и обняла ихъ, вся дрожа.

— Молитесь, дѣти! сказала она имъ, взглянувъ на богатую икону въ углу, гдѣ теплилась лампадка.

— А у васъ горитъ лампадка? спросила она потомъ.

— Горитъ, сказала Фаничка, радуясь, что погода мѣшаетъ матери говорить о чемъ-нибудь другомъ — о томъ, напримѣръ, что неприлично участвовать въ нѣкоторыхъ похоронныхъ процессіяхъ.

— Антипьевна! крикнула Нина Сергѣевна, внезапно вспомнивъ болѣе или менѣе вѣрное средство отъ грозы: — принеси-ка скорѣе изъ моей спальни страстную свѣчу, да зажги ее у лампадки!

Антипьевна, которая стояла у дверей и глядѣла въ садъ, думая, что «не къ добру упала самая старая тополя», засуетилась, побѣжала изъ гостиной и принесла свѣчу.

— Обойдемъ-ка вокругъ всѣ комнаты! сказала Нина Сергѣевна, беря свѣчу и поднимаясь съ мѣста. — Пойдемъ, дѣти!

Всѣ встали и пошли. Въ полутемныхъ, большихъ комнатахъ странно замирали шаги

этой медленно двигающейся группы. Тусклое пламя свѣчи бросало блѣдный, красноватый свѣтъ на лица. Губы Нины Сергѣевны беззвучно шептали молитвы. Фаничка, увидѣвъ въ залѣ, въ зеркалѣ, свое отраженіе, прижалась къ Мэри. «Зачѣмъ еще эта процессія?» подума она съ испугомъ. До этого момента она не боялась грозы, а теперь стала бояться и при каждомъ порывѣ вѣтра ожидать чего-нибудь страшнаго и необычайнаго.

Возвратились въ гостиную и опять сѣли. Всѣ были блѣдны. Громъ грохоталъ уже ясно. Страстная свѣча продолжала горѣть и мигала. Ея миганья, казалось, становились все ярче и ярче. И вдругъ вся гостиная наполнилась ослѣпительно бѣлымъ свѣтомъ, и небо точно рухнуло на землю съ трескомъ и какимъ-то дребезжащимъ острымъ звукомъ, грознымъ и необъятнымъ. Нина Сергѣевна вскрикнула и прижилась къ дочерямъ, которыя сами были испуганы смертельно.

— Не бойтесь, maman, сказала Мэри взволнованнымъ голосомъ.

— Я не боюсь, дѣти, слезливо отвѣчала Нина Сергѣевна.—Вы только молитесь! пожалуйста, молитесь...

— Maman, перейдемъ въ спальню, возбужденно сказала Фаничка. — Тутъ бронза. Металлъ притягиваетъ молнію...

Нина Сергѣевна сейчасъ же вскочила и перебралась съ дочерьми въ спальню.

Громъ продолжалъ гремѣть, молніи вспыхивали. Хлынулъ крупный дождь. Онъ громко барабанилъ по стекламъ, которыя, казалось, таяли, точно пластинки льда. Конюшня, ворота, кухня, колодецъ, всѣ предметы на дворѣ лишились какъ будто очертаній, расплылись въ мутной дымкѣ ливня.

Но небо уже прояснилось въ одномъ мѣстѣ. Надъ крышей конюшни показалась узкая свѣтлая полоска. Нина Сергѣевна, увидѣвъ ее, почувствовала себя бодрѣе. Лица барышень, въ особенности Фанички, расцвѣли. Сумракъ въ комнатахъ сталъ рѣдѣть, и хоть отъ времени до времени и слышались пока раскаты грома, но было уже очевидно, что бѣда прошла мимо и бояться чего-нибудь еще — просто смѣшно.

— Пусть накрываютъ столъ! сказала Нина Сергѣевна, пріятно вздохнувъ.

XVII

Скорѣ дождь почти пересталъ и капалъ только съ крыши большими свѣтлыми каплями. Небо, свинцовое и хмурое, мѣстами уже синѣло. Тамъ и сямъ плыли полумрачныя облака. Изъ оконъ столовой виднѣлся садъ; зелень его снова стала яркой. Цвѣты въ клумбахъ были смяты, и тополь, зеленой громадой, лежалъ поперекъ лужайки передъ террасой. Мокрыя дорожки были усѣяны свѣжими листьями, вѣтками, завязями плодовъ. На одной яблони висѣла тряпка, занесенная сюда изъ кухоннаго задворка вихремъ. Нина Сергѣевна сидѣла за столомъ и, въ ожиданіи перваго блюда, смотрѣла на пострадавшій отъ бури садъ и качала головой.

— Сколько убытковъ! говорила она.

Показалась фигура садовника. Онъ останавливался передъ фруктовыми деревьями и тоже качалъ головой. Нина Сергѣевна слѣдила за нимъ, пока его не скрыла зелень сада.

Фаничка, хотя очень обрадовалась, что гроза прошла, но съ нѣкоторыхъ поръ стала сильно безпокоиться. Чѣмъ болѣе прояснялось небо, тѣмъ неизбѣжнѣе, казалось ей, объясненіе съ maman и тѣмъ милѣе она улыбалась, посматривая на сестру и часто поднимая бровь.

Но подали супъ съ вермишелью, подали утку подъ кисленькимъ соусомъ, подали шпигованную телятину и салатъ, — Нина Сергѣевна не заговаривала о похоронахъ. Она ѣла, какъ всегда, съ большимъ аппетитомъ. Дѣлала хозяйственныя замѣчанія и велѣла сказать повару, недавно поступившему на мѣсто, что супомъ она «недовольна — немного пересоленъ, а прочее хорошо». «Пусть старается», прибавила она поощрительно, вытирая салфеткой ротъ и подбородокъ, Фаничка постепенно успокоилась. «Ничего, кажется, не будетъ», подумала она.

Между тѣмъ, на свинцовой части неба заиграла радуга. Затѣмъ гдѣ-то блеснуло солнце. Капли дождя заискрились на зелени сада, облака вспыхнули. Нина Сергѣевна улыбнулась и, откинувшись на спинку кресла, стала оживленно бесѣдовать съ дочерьми по поводу предстоящаго вечера у Клавдіи Аполосовны.

«Совсѣмъ ничего не будетъ», сказала себѣ Фаничка и, когда рѣчь зашла о туалетахъ, сдѣлала нѣсколько смѣлыхъ замѣчаній насчетъ бюста Мэри, увѣряя, что ей нельзя быть декольтэ. Мэри покраснѣла, Нина Сергѣевна стала спорить съ Фаничкой. Но та перебила ее и, поднеся руки къ ушамъ и тряся головой, упрямо кричала:

— Нельзя, нельзя!

Нина Сергѣевна замолчала, пошевелила губами и сурово повернула къ ней свои желтоватые бѣлки. Фаничка потупилась и подняла бровь. Губы ея сложились въ улыбку.

«Надѣлала бѣды!» думала она, толкая Мэри ногой.

Но Нина Сергѣевна ничего не сказала. Она все только смотрѣла на Фаничку.

Въ это время принесли мороженое въ тонкихъ стаканчикахъ на подносѣ, покрытомъ бѣлой салфеткой.

Фаничка вскрикнула:

— Ахъ, прелесть! Это хорошо, maman, что вы догадались, наконецъ, велѣть... Я давно хочу!

И протянула руку къ стаканчику, улыбаясь и чувствуя, что поведеніе ея безтактно, потому что, напримѣръ, слѣдовало предоставить maman первой взять съ подноса и вообще не говорить съ ней такимъ языкомъ.

Но Нина Сергѣевна опять ничего не сказала и даже перестала смотрѣть на Фаничку. Она взяла стаканчикъ съ мороженымъ и стала торопливо ѣсть.

Послѣ обѣда Мэри и Фаничка подошли къ ней, чтобы поцѣловать у ней руку. Она протянула руку Мэри, но Фаничкѣ только энергически погрозила пальцемъ. Потомъ сказала ей:

— Фаничка! Я все вижу! Я все знаю! Берегись!

Фаничка вздрогнула и поблѣднѣла. «Все? Что все?» подумала она и хотѣла, повернувшись къ сестрѣ, улыбнуться, но улыб-

ки не вышло. «Что все?» спросила она сама себя еще разъ и медленно, не глядя на мать, стала пробираться въ гостиную, чтобы затѣмъ шмыгнуть на антресоли.

XVIII

На подносѣ оставались еще стаканчики съ мороженымъ. Нина Сергѣевна, перешедши въ гостиную, велѣла подать ихъ себѣ и, крикнувъ Мэри, предложила ей стаканчикъ и сама стала опять ѣсть.

— Мэри, сказала она нѣжно, чувствуя позывъ ко сну. Обыкновенно, она засыпала въ креслахъ стариннаго фасона, нарочно устроенныхъ для послѣобѣденной дремы. — Мэри!

Мэри, по тону этого обращенія, заключила, что maman помнитъ еще свою неправоту и желаетъ загладить вину ласковой бесѣдой.

«Она очень добрая, у ней мягкое сердце», сказала себѣ дѣвушка и, подойдя къ Нинѣ Сергѣевнѣ, съ увлеченіемъ поцѣловала ее въ плечо.

У Нины Сергѣевны навернулись слезы. Она была тронута. Она подумала: «Нѣтъ, *эта* никогда не погибнетъ». Потомъ у ней мелькнула мысль: «А Фаничка развѣ погибнетъ? Она точь-въ-точь я, когда мнѣ было семнадцать лѣтъ. Она ртуть. Пусть себѣ! Надо только присматривать».

— Мэри! сказала она. — Возьми тамъ — она показала глазами на этажерку — свѣжую пачку табаку и набей мнѣ трубку.

Мэри быстро отыскала, вскрыла пачку и набила трубку. Нина Сергѣевна позволяла дочерямъ набивать ей трубку лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. И это было знакомъ большаго благоволенія.

«Она добрая», еще разъ сказала себѣ Мэри.

Нина Сергѣевна, между тѣмъ, пустивъ клубъ дыма и почувствовавъ пріятное опьяненіе, сказала:

— Такъ ты меня любишь, Мэри?

— Maman! произнесла Мэри съ улыбкой.

— Не считаешь злою?

— Maman! повторила Мэри.

— Другъ мой! сказала Нина Сергѣевна, которой вдругъ захотѣлось видѣть вокругъ себя вмѣсто страха—умиленіе, вмѣсто будней — праздникъ, и даже чѣмъ-нибудь пожертвовать, со слезами радости на глазахъ, чтобы этотъ праздникъ длился вѣчно. — Другъ мой, дитя мое! продолжала она съ мечтательнымъ вздохомъ: — люби меня!

Она остановилась. Вѣки ея слегка отяжелѣли.

— Меня трудно любить, начала она, подымивъ трубкой: — потому что я раздражительная — я много страдала — но кто меня знаетъ, тотъ всегда скажетъ, что у меня золотое сердце, Мэри! Ты большая, тебѣ двадцать лѣтъ... Знай — никто меня не могъ оцѣнить... Твой покойный папа не могъ меня оцѣнить... Лиза—Богъ съ ней! Но все-таки...

Она махнула рукой. Вѣки ея стали слипаться.

У Мэри сильно забилось сердце. «Лиза!?», чуть не крикнула она. Она опустилась на колѣна и схатила руку Нины Сергѣевны. Та смотрѣла на нее, сонно улыбаясь.

— Я не понята, прошептала она. — Но, можетъ быть, ты меня поймешь.

— Maman! сказала Мэри въ волненіи. — Что у васъ произошло съ Лизой? Вѣдь она тоже добрая, удивительная, — какже это случилось!?

Никогда Мэри не заговаривала о старшей сестрѣ. Слово «Лиза» нельзя было произносить въ домѣ Лоскотиныхъ. Но теперь Мэри была проникнута радостью, что maman съ нею откровенна и даже первая вспомнила о Лизѣ. Она была убѣждена, что maman не разсердится. И ей такъ страстно, кому же, хотѣлось склонить ее въ пользу Лизы!

Нина Сергѣевна, дѣйствительно, не разсердилась. Въ этотъ день она не могла ужь сердиться. Она могла вспыхнуть на секунду, но сейчасъ же ее одолѣвала какая-то усталость и ея гнѣвъ пропадалъ самъ собой.

Теперь и секундной вспышки не было. Только сонъ ея на-время улетѣлъ. Она наклонила лицо къ Мэри, глаза которой выражали мучительную тоску, и посмотрѣла на нее серьезнымъ взглядомъ, опустивъ на полъ трубку.

— Мэри ты задала, мнѣ трудный вопросъ. Ты должна была вѣрить, что я тутъ права... сказала она сурово.

Глаза Мэри покрылись слезами; но она не потупилась, а продолжала ждать, что еще скажетъ мать.

— Не спорю, что Лиза удивительная, продолжала Нина Сергѣевна: — но она злая, а не добрая... О, еслибы она была добрая! Еслибы у ней было твое сердце!

Она взяла Мэри за подбородокъ, и лицо ея прояснилось.

— Мэри! сказала она, просительно тряся головой: — не разспрашивай меня больше.

И, поднеся къ губамъ мундштукъ, начала опять дымить.

Но Мэри покрыла поцѣлуями ея руки и плечо и горячо сказала:

— Maman! милая, вы не знаете, какъ это меня терзаетъ! Я ночь не спала сегодня — все думала о Лизѣ. Maman! Ради Бога! Какъ это случилось?

— Ты помнишь какъ, сказала Нина Сергѣевна, не глядя на дочь. — Она передала узелокъ этой своей... какъ ее... Машѣ, а сама ушла будто въ библіотеку. Съ тѣхъ поръ не возвращалась.

— Maman, сказала Мэри. — Это я знаю... Это не то...

— Потомъ, продолжала Нина Сергѣевна, все тѣмъ же тономъ: — я получила отъ нея письмо. Она писала о документахъ. Я посовѣтовалась и выслала ей всѣ бумаги...

— Не то!.. Но отчего-жь она ушла? съ тоской спросила Мэри.

— Оттого что она врагъ нашъ! возбужденнымъ шепотомъ сказала Нина Сергѣевна, опять наклонивъ лицо къ дочери и опустивъ чубукъ. — Нашъ заклятый врагъ! повторила она. — Вотъ отчего.

— Какъ это? тоже шепотомъ, поблѣднѣвъ, спросила Мэри.

— Ну, такъ знай, Мэри, сказала Нина Сергѣевна съ плачевнымъ выраженіемъ лица, утомившись отъ этого разговора: — что она нетолько возмутилась противъ меня, своей крови, но и противъ сословія, къ которому принадлежали ея дѣды и прадѣды, противъ всего дворянства, и объявила мнѣ, что ей стыдно, что у насъ такъ много земли, что надо возвратить ее мужикамъ... Ты слышишь, Мэри? И это она говорила серьезно, съ съумасброднымъ упрямствомъ, а я цѣлый годъ терпѣла это и надрывалась съ нею... Такъ что, когда она ушла, то, повѣрь, Мэри, я почувствовала облегченіе...

Нѣтъ, не говори о ней! вскричала она въ волненіи: — не могу я... Она мнѣ не дочь... Она ни разу не заглянула мнѣ въ сердце... Нѣтъ!!

Она съ силой потянула изъ чубука и обдала Мэри цѣлымъ облакомъ дыма.

— Уйди отъ меня! сказала она ей недовольнымъ голосомъ: — ты меня разстроила.

Но Мэри не ушла. Лицо у ней было блѣдно, она вся дрожала.

— Maman! сказала она почти строго: — и ничего больше не произошло у васъ?

Нина Сергѣевна съ удивленіемъ посмотрѣла на дочь. Сквозь струйки дыма она увидѣла ея темные глаза, въ которыхъ свѣтился упрекъ.

Она сердито крикнула:

— Уйди!

Но когда Мэри, вздохнувъ, встала и хотѣла уходить, она удержала ее и сказала прежнимъ нѣжнымъ тономъ:

— Мэри, ты сейчасъ подумала, что я не добрая... Грѣхъ тебѣ, Мэри!...

Слезинка скатилась у ней по щекѣ и упала на грудь.

— Мэри, клянусь тебѣ, продолжала она: — что Лизу я люблю, хотя она и врагъ нашъ... Теперь много такихъ, какъ она, и она, мо-

жетъ быть, не виновата... Ее завлекли... Виновата я, что давала ей свободу... что позволяла ей отступать отъ порядка, искони заведеннаго въ нашемъ домѣ... Мэри! ты думаешь, я не терзаюсь? Знаешь ли ты, что еслибы она, эта несчастная, погибшая дочь, вдругъ возвратилась и попросила прощенія, я приняла бы ее... Приняла бы, будь она въ лохмотьяхъ, будь она опозорена, унижена... Ахъ, Мэри, пойми меня!

Она тихо заплакала. Плечи ея чуть-чуть потрясались. Мэри съ скорбнымъ недоумѣніемъ смотрѣла на нее. Ей хотѣлось сказать, что Лиза не въ лохмотьяхъ, что можно повидаться съ ней и, можетъ быть, уговорить, если не жить вмѣстѣ, то хоть примириться съ maman. Но она никакъ не могла сказать этого. Ей казалось, что права Лиза, если только *это* произошло у ней съ maman. Ее охватило странное волненіе. Душа болѣла. Она подумала, что maman не понимаетъ Лизы, и все горе въ этомъ. Ей жаль стало maman. Она припала къ ея рукѣ и просила ее успокоиться обѣщая не говорить больше объ этомъ.

Нина Сергѣевна положила ей на голову руку и погрузилась въ грустныя размышле-

нія. Она перестала плакать и удивлялась своей добротѣ. И, слегка качаясь въ креслахъ, вдругъ мягко уронила на полъ чубукъ и заснула.

XIX

КОГДА Мэри пришла въ свою комнату, Фаничка, поджидавшая ее, вбѣжала къ ней съ тревожнымъ лицомъ и сказала, схвативъ ее за руку:

— Что это значитъ? Кто насплетничалъ? Какъ тебѣ не стыдно, Мэри!

Губы ея дрожали, глаза блестѣли

Мэри пожала плечами.

— О чемъ ты это? спросила она сухо.

Фаничка капризно посмотрѣла на нее и топнула ногой.

— Мэри, не притворяйся! крикнула она

Мэри сдѣлала гримасу.

— Рѣшительно ничего не понимаю, сказала она и насмѣшливо улыбнулась.

Глаза ихъ встрѣтились.

— Мэри! вскричала Фаничка съ тоской.— Что, *все* знаетъ maman?

— Ахъ, ты про *это*? воскликнула Мэри и нахмурила брови.—Ты про это! повторила она потупившись, и вдругъ замолчала.

Фаничка нѣсколько секундъ жадно глядѣла ей въ лицо.

— Ну?

— Maman ничего не знаетъ такого особеннаго, сказала, наконецъ, Мэри и медленно подняла на сестру свои глаза. — Знаетъ только, что ты была на похоронахъ.

Фаничка покраснѣла. Глаза сестры, казалось, видятъ ее насквозь. Ей сдѣлалось невыразимо стыдно. «Maman не знаетъ, такъ Мэри знаетъ», подумала она съ испугомъ. И она сама теперь потупилась и стояла, не трогаясь съ мѣста, точно оцѣпенѣла, между тѣмъ. какъ краска все гуще и гуще заливала ея лобъ, уши, щеки, подбородокъ...

— Пусти меня, Фаничка! тихо сказала Мэри и сдѣлала движеніе, чтобы сѣсть.

Фаничка выпустила ея руку. Она чувствовала, что необходимо сказать что-нибудь веселое и умное, чтобъ загладить свой промахъ, чтобы замаскировать это внезапное

смущеніе. Но въ головѣ былъ ералашъ, пустота. «Поцѣлуй въ губы, въ губы, въ губы, три поцѣлуя, пять поцѣлуевъ, милліонъ поцѣлуевъ», неслышно шептала она сама себѣ. Эти пустяки заняли все ея вниманіе. Она напряженно улыбалась, въ ушахъ у ней шумѣло. Наконецъ ей стало смѣшно. Тряся плечами и закрывъ лицо рукой, она съ громкимъ хохотомъ убѣжала отъ сестры, которая посмотрѣла ей вслѣдъ, болѣзненно наморщивъ лобъ.

Бросившись на свою софу, Фаничка схватила себя за голову, и мало-по-малу мысли ея пришли въ порядокъ. Она нашла, что вела себя глупо, какъ никогда. «Чего я испугалась? спрашивала она себя. — Въ самомъ дѣлѣ, что могла особеннаго узнать maman? На кладбищѣ никого не было! Да и Мэри—что она можетъ знать? Что я съ Пьеромъ шла подъ-руку? Хха-ха! Какая я дура! Чего было стыдиться, краснѣть! Конечно, она видѣла—это ея былъ глазъ... Ну, и надо было сказать, что встрѣтилась съ Пьеромъ... И ничего бы глупаго не вышло!»

Она полежала нѣсколько минутъ, размышляя на эту тэму и выдергивая клокъ за

клокомъ шерсть изъ софы; потомъ вскочила и опять отправилась къ сестрѣ.

Мэри сидѣла у столика и пристально читала евангеліе, маленькое, въ золотообрѣзномъ переплетѣ. Она повернула голову и взглянула на Фаничку недовольнымъ взглядомъ.

Фаничка улыбнулась и, остановившись на порогѣ, сказала:

— Мэри! Я забыла тебѣ передать — на похоронахъ я видѣлась съ Пьеромъ и онъ просилъ тебѣ напомнить, что Лиза будетъ завтра... Видишь, хорошо, что я пошла... Да, Мэри?

— Лиза намъ сама сказала, что послѣ завтра... значитъ, завтра... произнесла Мэри.

Фаничка растрепала клокъ шерсти, который захватила съ собою, сдунула его по частямъ на полъ и сказала вдругъ съ оживленіемъ:

— Да, самое главное, и забыла! Линины уѣзжаютъ, такъ что намъ будетъ свободно...

Мэри нетерпѣливо пожала плечами и опять взялась за евангеліе. Но потомъ, сдѣлавъ надъ собой усиліе, ласково сказала:

— Извини меня, Фаничка. Мнѣ некогда...

Фаничка ушла, и слышно было, какъ она вскорѣ весело запѣла. Мэри не могла чи-

тать, когда шумятъ, а теперь это пѣніе ей было особенно непріятно. Она встала, замѣтила на полу шерсть, брезгливо собрала ее и бросила въ жестяной ящикъ съ соромъ, стоявшій въ маленькой передней. Затѣмъ, надѣвъ калоши, сошла въ садъ взглянуть ближе, что надѣлала буря.

XX

ДЕНЬ, назначенный Лизой сестрамъ, былъ у ней свободенъ. Засѣданія съѣзда кончились. Надо было только повидать инспектора училищъ. Но сегодня его не будетъ въ городѣ. Онъ пріѣдетъ вечеромъ. Лиза рѣшила употребить этотъ день, до четырехъ часовъ, на визиты къ остальнымъ знакомымъ. Прежде у ней было здѣсь очень много знакомствъ. Но за шесть лѣтъ воды не мало утекло. Осталось человѣкъ пять, болѣе или менѣе ей близкихъ. По крайней мѣрѣ, когда-то она была тѣсно связана съ ними. Она слыхала уже, что ихъ теперь не узнать. Но все-таки ей хо-

тѣлось повидаться съ ними. Хотѣлось понаблюдать людей—у ней была эта жилка—посмотрѣть на актеровъ, добровольно, когда раздался роковой сигналъ поднять занавѣсъ, ушедшихъ за кулисы и предоставившихъ другимъ играть тихую, безшумную, но мучительную драму провинціальной жизни...

Небо съ утра было сѣренькое, все въ дымчатыхъ и золотистыхъ тучахъ. Раза два брызнулъ дождикъ, но потомъ облака на югѣ расползлись, блеснула лазурь, загорѣлось солнце.

Было одинадцать часовъ. Лиза направилась въ красивую, широкую улицу, всю въ тополяхъ и садахъ, тянувшуюся поперекъ города, мимо базарной площади. Дома были деревянные, большей частью новые, крашенные, съ бѣлыми и зелеными ставнями. На дверяхъ блестѣли кое-гдѣ мѣдныя дощечки адвокатовъ — Мошковича, Исаковскаго, Розенблюма — все евреевъ.

Лиза нашла домъ Шаровицыныхъ. У нихъ и прежде былъ домъ, доставшійся имъ по наслѣдству, но не такой, какъ теперь. То былъ низенькій домишка, съ бѣлой штукатуркой и почернѣвшими отъ времени ставнями, а теперь на его мѣстѣ высились на-

стоящія палаты, какой-то не то московской, не то швейцарской архитектуры, съ рѣзными коньками, огромными окнами. Домъ былъ обшитъ новымъ тесомъ и за зеркальными стеклами его дубовыхъ дверей виднѣлась на лѣстницѣ ковровая дорожка, застланная чистымъ полотномъ и перехваченная мѣдными, сіяющими прутьями. На площадкѣ повыше стояли въ зеленыхъ кадкахъ олеандры, пальмы...

Лиза позвонила.

Показалась молоденькая горничная въ малорусскомъ нарядѣ, сбѣжала по ступенькамъ и, проводивъ ее въ переднюю, доложила о ней господамъ. Тотчасъ же къ ней выскочили, съ добродушными восклицаніями, оба Шаровицыны: онъ—тучный брюнетъ съ бѣлыми зубами, она — низенькая, полная блондинка съ большой головой и свѣтлыми желтоватыми глазами навыкатѣ. Они потащили ее, черезъ залу съ паркетнымъ поломъ, въ столовую, гдѣ стоялъ массивный рѣзной буфетъ и былъ приготовленъ завтракъ и чай.

— Ахъ, ахъ! кричали они:—вотъ сюрпризъ!

Лиза улыбнулась. Ей было пріятно, что ее радушно встрѣтили. Она сѣла — и сейчасъ же ей подвинули всякаго рода закуски. Въ то-же время посыпались разспросы что и какъ, и почему, и что новаго. Разговоръ завязался обычный, но шумный. Раскатистый смѣхъ Шаровицына наполнялъ столовую. Жена громко вторила ему и, когда хохотала, то плавно закидывала голову, показывая бѣлый жирный подбородокъ и бѣлую, въ складкахъ, какъ у дѣтей, шею. Смѣялись всему, по поводу чего-нибудь и безъ всякаго повода. Это былъ сочный нутряной смѣхъ счастливыхъ людей, искренно обрадовавшихся появленію друга, котораго давно не видали.

Шаровицынъ былъ въ бѣломъ форменномъ кителѣ на-распашку и малорусской сорочкѣ, завязанной красивой ленточкой. Попрежнему не росла у него борода, усы все такъ-же чуть-чуть сѣялись, и онъ казался какимъ-то уродливымъ толстымъ мальчикомъ лѣтъ пятнадцати, такъ онъ былъ моложавъ, хотя ему теперь было, навѣрно, тридцать съ небольшимъ.

На Шаровицыной была красная мужская блуза обыкновеннаго рабочаго фасона,

но коротенькая, и имѣла видъ кофточки, тѣмъ болѣе, что не была схвачена поясомъ. Въ красной блузѣ Шаровицына пріѣхала изъ Женевы и тогда она гордилась ею. Даже неоднократно показывалась въ этомъ костюмѣ на общественныхъ гуляньяхъ. Но теперь она носитъ ее только поутрамъ, дома, хотя, вѣроятно, и не безъ задней мысли — потому что до сихъ поръ считаетъ себя радикалкой.

Лиза вспомнила все это и сообразила, когда разговоръ, по почину Шаровицыной, вдругъ перешелъ на урядниковъ. Лиза живетъ въ деревнѣ и пусть-ка она разскажетъ объ урядникахъ. Затѣмъ начались толки о всеобщей «прижимкѣ», о «сермяжномъ мученикѣ», о томъ, что «такъ нельзя дольше жить». «Не правда ли?» Шаровицына такъ кипятилась, что Лизѣ, въ ушахъ которой звучалъ еще ея безпечный, радостный смѣхъ, сдѣлалось неловко, потому что, въ сравненіи съ хозяйкой дома, она вела себя почти холодно; но неловко не за себя, а за нее. Она давно уже привыкла даже въ серьезныхъ случаяхъ сдерживать себя. Если человѣкъ начиналъ волноваться, потрясать руками и говорить захлебываясь, «съ чувствомъ», —

ей всегда казалось, что во всемъ этомъ есть что-то легкомысленное, а иногда даже ненатуральное, поддѣльное. «Серьезный человѣкъ никогда не ломается», было ея мнѣніе. Она слушала Шаровицыну съ вѣжливой улыбкой — самое большое, къ чему могла себя принудить. И очень жалѣла, что пріятное впечатлѣніе отъ встрѣчи съ нею было наполовину испорчено этимъ политическимъ разговоромъ.

Шаровицынъ былъ умнѣе жены. Онъ молчалъ, ѣлъ, и должно быть догадывался, что Лизѣ неловко. Онъ раза два вздохнулъ, но такъ, что какъ-будто и зѣвнулъ. Затѣмъ, когда бесѣда черезчуръ затянулась, повернулся на стулѣ всѣмъ корпусомъ и съ какой-то пьяной улыбочкой — хотя пьянъ не былъ — махнулъ рукой, понурилъ голову и сказалъ женѣ:

— Да ну, право, Адочка, не надоѣдай ты ей... Все это она слышала-переслышала... Да? — спросилъ онъ Лизу, поднявъ на нее смѣющіеся глаза. — Смотри, она ничего не ѣла! крикнулъ онъ. — Положи-ка ты ей этого карасика... въ сметанкѣ... Кушайте, кушайте! ласково приказалъ онъ Лизѣ. — У насъ ужь такъ заведено... Жизнь въ брю-

хо... на то инженеры... Хха-ха-ха! Эй, Адочка! опять крикнулъ онъ:—а что-жь ты дѣтокъ ей? Покажи!.. Тащи ихъ сюда!.. Я вамъ скажу, удивительныя дѣти... Тройка!.. Крошки, а ужь въ каждомъ по два пуда, совралъ онъ и сочно захохоталъ.

Когда жена ушла, онъ успокоился и сказалъ Лизѣ, прихлебнувъ изъ стакана и слегка понизивъ голосъ:

— До сихъ поръ мелетъ... А мнѣ не удивляйтесь, Лизавета Павловна. Всякому поколѣнію свое. Тутъ три года службы—и то долго. Новая волна набѣжала—а мы назадъ... Мы были слово, теперь началось дѣло...

Лиза посмотрѣла на него. Онъ былъ серьезенъ, и взглядъ его свѣтился былымъ умомъ. Она хотѣла сказать нѣсколько словъ въ отвѣтъ; но онъ, по розовымъ пятнамъ на ея щекахъ и загорѣвшимся глазамъ, догадался, что она скажетъ, съежился, сдѣлалъ пьяную улыбочку и брякнулъ:

— Цѣли, цѣли у меня теперь другія, Лизавета Павловна! Домъ видѣли? Семь тысячъ вбухалъ! Купилъ имѣніе—пятнадцать тысячъ... Лѣсомъ торгую, изъ шоссейнаго щебня масло жму...

Онъ захохоталъ.

— И главное,—началъ онъ, ковырнувъ сыру:—развратился: все мало кажется.

И опять захохоталъ.

Лиза потупилась, нѣсколько секундъ молчала. «Все-таки онъ ломается», подумала она. Но, съ другой стороны, было слишкомъ очевидно, что, дѣйствительно, у него теперь «цѣли другія». «Были ли у него когда-нибудь иныя цѣли?» усомнилась она. И сказала съ улыбкой, которая не понравилась Шаровицыну:

— Дай вамъ Богъ!

Вошла Шаровицына, ведя за руки дѣтей, въ бѣлыхъ нагрудникахъ и въ сопровожденіи двухъ опрятно-одѣтыхъ, улыбающихся нянекъ, старой и молодой. Дѣти, въ самомъ дѣлѣ, были крупныя, съ бѣлыми, жирными подбородками и жирными шейками. Шаровицына, счастливая и гордая, съ громкимъ хохотомъ представила ихъ Лизѣ. Шаровицынъ сталъ что-то весело кричать, а они дичились и смотрѣли на гостью робко и исподлобья. Она любила дѣтей, нагнулась и поцѣловала старшую дѣвочку. Но мальчики раскричались и замахнулись на нее рученками, растянувъ плаксиво губы. Они

не подпустили ее къ себѣ, и ихъ пришлось увести.

Послѣ этой сцены Шаровицынъ, который боялся, что жена опять начнетъ радикальничать, взялъ Лизу за руку и, оживленно тараторя, повелъ смотрѣть комнаты, мебель, выписанную изъ Варшавы, олеографіи въ дорогихъ рамахъ. Шаровицына предложила идти на вышку, чтобъ гостья полюбовалась видомъ на городъ. Но та уклонилась отъ этого удовольствія и сказала, что спѣшитъ еще навѣстить кой-кого; и стала прощаться. Шаровицыны удерживали ее, хотѣли, чтобъ она у нихъ пообѣдала. Наконецъ—«нечего дѣлать!»—простились съ нею такъ же радушно и—какъ Лизѣ показалось—такъ же радостно, какъ и встрѣтились. Сами проводили на лѣстницу. Потомъ Шаровицынъ, какъ будто что-то вспомнивъ, въ смущеніи, остановилъ уходившую Лизу и, схвативъ ее за рукавъ, сказалъ:

— Не возьмете ли денегъ?

— Что вы? сказала она.

— Не вамъ! протянулъ онъ съ ласковой досадой.

Она покраснѣла и нѣкоторое время стояла въ нерѣшительности, потупившись.

— Хорошо, сказала она.

— Такъ-то лучше! съ веселымъ смѣхомъ сказалъ онъ и сунулъ ей бѣленькую.

Она кивнула головой, точно монашенка, которой подали «лепту на украшеніе святой обители», и ушла.

XXI

ОНА посѣтила затѣмъ Шаршмидтовъ. Шаршмидтъ былъ врачъ, жена его тоже окончила врачебные курсы. Онъ только-что возвратился изъ богоугоднаго заведенія, гдѣ былъ ординаторомъ, и, заставъ Лизу у жены, тихо привѣтствовалъ ее, робко оглянувшись.

— Мы о васъ много слыхали, сказалъ онъ съ гортаннымъ произношеніемъ.—Вы все подвизаетесь... Вы закоренѣлая!..

Онъ погрозилъ ей тонкимъ, бѣлымъ пальцемъ, почесалъ локоть, опять оглянулся и сѣлъ рядомъ съ Лизой.

— Ну, и что же вы... ну? спросилъ онъ ее неопредѣленно и подмигнулъ красноваты-

ми глазками.—Душа моя! сказалъ онъ женѣ, не ожидая отвѣта Лизы:—ты ничѣмъ не угощала ихъ?

— *Когда* она не хочетъ, сказала жена, беременная дама, съ широкими плечами, поднятыми такъ, что шеи не было видно, бѣлая и румяная, слегка заспанная.

Шаршмидтъ сдѣлалъ гримасу.

— Душа моя, ты знаешь, сказалъ онъ шутливо:—что это опасный человѣкъ...

Жена улыбалась. Лиза сказала:

— А вы таки трусъ... Я бы не зашла... Простой сельской учительницы трусите!

— Нѣтъ? Въ самомъ дѣлѣ?..—протянулъ Шаршмидтъ прищурившись. — Учительница? А вы знаете, что теперь надо быть очень и очень осторожнымъ?... Ну, только я не трусъ! сказалъ онъ съ улыбкой.—Сохрани меня Богъ!

Онъ запустилъ пальцы въ жиденькую рыжеватую бородку.

— Читали вы мою *статью?* спросилъ онъ, глядя на гостью какъ-то бочкомъ, однимъ глазомъ.—Душа моя! обратился онъ къ женѣ, замѣтивъ по лицу Лизы, что та статью его не читала.—*Для чего* имъ не *показывала* мою *статью?*

Онъ торопливо всталъ и, подойдя къ этажеркѣ съ книгами, сталъ рыться въ нихъ, поднимая пыль. Наконецъ, нашелъ какую-то сѣренькую газету, въ формѣ тетради, и вернулся съ нею къ Лизѣ.

— Она называется; *эта моя статія* — «Народники», сказалъ онъ съ убѣжденіемъ. — Я хвалю народниковъ. Я хочу показать, что ежели они...

Онъ сталъ нервно перелистывать газету.

— Хотите, я вамъ прочитаю? спросилъ онъ. — Вамъ она непремѣнно понравится, сказалъ онъ съ сладенькой улыбкой. — Вы увидите, какой я трусъ!

Онъ аппетитно смотрѣлъ на газету.

— Знаю, знаю, что вы тамъ пишете! воскликнула Лиза съ улыбкой. — Всѣ ваши фразы знаю... Только врядъ-ли она мнѣ понравится. Я, вѣдь, не народница...

Шаршмидтъ отшатнулся отъ нея и смотрѣлъ на нее почти испуганно, между тѣмъ какъ лѣвая рука его скромно пыталась почесать грудь подъ манишкой, накрахмаленной и твердой какъ лубокъ.

— Кто же вы? спросилъ онъ, наконецъ, тихо и оглянулся.

— Я?

— Ну, да, вы, ну... Кто вы? спросилъ опять Шаршмидтъ поблѣднѣвъ.

— Я просто русская женщина, сказала Лиза. — Служу, какъ могу, народу, потому что вижу, какъ онъ дикъ и грубъ, и забитъ. А еслибъ онъ былъ такъ прекрасенъ и совершененъ, какъ вамъ, народникамъ, представляется,—тутъ она добродушно взглянула на Шаршмидта, — то незачѣмъ было бы и служить ему. И вотъ еще: вы, народники, терзаетесь, что вы сами не народъ, что вы, къ несчастью, интеллигенція, тронуты культурой и такъ далѣе. А я рада, что училась чему-нибудь и учусь, и убѣждена, что неразрывно связана съ народомъ, что мы всѣ вмѣстѣ — одно тѣло. Отсюда и всѣ обязанности вытекаютъ...

— Та-акъ? протянулъ Шаршмидтъ, положилъ газету на этажерку и сѣлъ успокоенный, но недовольный.

Наступило молчаніе.

— Такъ вы теперь за литературу взялись? спросила его Лиза послѣ паузы. — А помните, что вы ей, — она ласково кивнула на его жену, — давали когда-то слово до конца не покидать поля?

— *Ата!* сказала его жена съ улыбкой,

съ какой вспоминаютъ взрослые о своихъ дѣтскихъ проказахъ.

— Пожалуйста, оставьте *этотъ вашъ* разговоръ, торопливо и сердито сказалъ Шаршмидтъ оглянувшись; но затѣмъ разсмѣялся и, съ сожалѣніемъ качая головой,—причемъ Лизѣ казалось, что качается только одинъ его бѣлый длинный носъ, —отправилъ руку къ лопаткамъ и выпятилъ грудь, съ кислой гримасой.

XXII

ЛИЗА ушла отъ Шаршмидтовъ и завернула еще въ два дома. Но въ одномъ ее встрѣтилъ звѣрски-пьяный человѣкъ, огромнаго роста, волосатый, съ воспаленными глазами. Она едва узнала въ немъ Чаплю, либеральнаго земца. Это былъ, еще годъ тому назадъ, человѣкъ искренно убѣжденный въ правильности земскаго пути; все свое состояніе отдалъ онъ земскому дѣлу — заводилъ на свой счетъ школы, устроилъ учительскую семинарію, открылъ множество сельскихъ банковъ, десять лѣтъ сряду поднималъ на каждомъ губернскомъ собраніи вопросъ о переоцѣнкѣ крестьянскихъ надѣловъ, нажилъ тьму вра-

говъ и, чтобъ мѣстная администрація не мѣшала ему своими протестами, закармливалъ губернатора и другихъ чиновниковъ обѣдами, потѣшалъ ихъ облавами, дарилъ имъ дорогихъ собакъ, ружья. Съ рѣдкой энергіей создалъ онъ себѣ партію, кое-какъ дисциплинировалъ ее, и она ему долго служила — до тѣхъ поръ, пока на послѣднемъ собраніи онъ не поставилъ ребромъ одного «щекотливаго» вопроса. Партія вдругъ измѣнила — кто струсилъ, кто соблазнился перспективой членства въ управѣ, потому что надоѣло состоять «на побѣгушкахъ» у вожака, захотѣлось «своего куска и спокойнаго угла». Вожакъ остался одинъ на мели. И вотъ, значитъ, не выдержалъ, запилъ. Лизѣ сдѣлалось больно. Изъ всѣхъ земцевъ она уважала только этого человѣка. Въ немъ ей всегда нравились безкорыстная, даже самоотверженная преданность дѣлу и свѣтлый умъ. «Это первый и послѣдній земецъ здѣсь», подумала она съ горечью. Чапля не узналъ ее, ругнулся и, пошатываясь, захлопнулъ передъ самымъ ея носомъ дверь. Въ другомъ домѣ она никого не застала. «Господа поѣхали за Десну кашу варить», сказала ей горничная. «Ну, значитъ, имъ

весело и они здоровы!» сказала себѣ Лиза и вспомнила, какъ они прежде любили «кашу варить» и при этомъ пѣли всегда, цѣлой компаніей, марсельезу, а затѣмъ поздно возвращались домой, пріятно возбужденные и счастливые, и проектировали уже слѣдующую «кашу». — «Этакъ до безконечности, всю жизнь», подумала Лиза съ улыбкой. Ей было пріятно, что она — одна изъ немногихъ, оставшись на своемъ посту, дѣлаетъ хоть скромное дѣло, невидное, но все-жь дѣло, а не болтаетъ языкомъ и не находитъ удовлетворенія въ громкихъ и смѣлыхъ фразахъ. «Впрочемъ, пусть ихъ звонятъ», подумала она затѣмъ, чуть-чуть махнувъ зонтикомъ, и отправилась на свой постоялый дворъ, гдѣ пообѣдала, и въ четыре часа была уже въ квартирѣ Лининыхъ.

XXIII

ПЬЕРЪ, въ бѣломъ шикарномъ пиджакѣ съ иголочки и туго накрахмаленномъ, въ розовыхъ крапинкахъ, бѣльѣ, почтительно и вмѣстѣ дружески протянулъ Лизѣ руку, усадилъ ее въ гостиной и изъявилъ сожалѣніе, что ей придется немножко поскучать съ нимъ въ ожиданіи сестеръ — ихъ еще нѣтъ.

— Зачѣмъ скучать? сказала Лиза озабоченно и сняла шляпку.

Пьеръ, улыбавшійся передъ этимъ, сдѣлалъ серьезное лицо. Онъ рѣшилъ вести себя въ тонѣ Лизы. Онъ сидѣлъ рядомъ съ ней и искоса посматривалъ на нее. Ему нравились ея умѣренная пол-

нота, красивая шея, подбородокъ съ ямкой. Онъ догадывался, какой у ней «образъ мыслей», и теперь очень былъ бы непрочь какъ-нибудь угодить ей съ этой стороны; напримѣръ, въ видѣ любезности, объявить себя «врагомъ существующаго порядка вещей». Но Лиза молчала, не заговаривала и что-то отмѣчала карандашемъ въ записной книжкѣ. Пьеру не представлялось случая срадикальничать. И мысли его мало-по-малу перешли на другой предметъ — на Фаничку. Онъ нетерпѣливо постучалъ пальцами по орѣховой ручкѣ диванчика.

Дѣвушки опоздали почти на полчаса. Фаничка вбѣжала съ веселымъ смѣхомъ и стремительно обняла Лизу, Мэри просто подала сестрѣ руку. Пьеръ всталъ, дождался своей очереди поздороваться съ ними, сказалъ каждой по нѣскольку словъ, спросилъ: «а какова вчерашняя гроза?» — мило засмѣялся, когда на ихъ лицахъ изобразился испугъ и онѣ сказали: «ужасъ, ужасъ!» — и ушелъ, обмѣнявшись съ Фаничкой взглядомъ.

— Что, онъ вамъ нравится? спросила Лиза сестеръ, съ улыбкой.

— Такъ себѣ! сказала Фаничка и посмотрѣла въ окно.

Мэри не хотѣла сначала отвѣчать. Но потомъ сказала, потупившись:

— Кажется, онъ хорошій... Съ задатками...

— А мнѣ показался пустенькимъ, сказала Лиза. — Впрочемъ, я его мало знаю...

— Мало... Меньше моего, тихо замѣтила Мэри.

Фаничка подумала:

«Вотъ кто знаетъ его, такъ знаетъ—я!»

И почувствовала себя счастливой. Затѣмъ нашла, что ему очень къ лицу бѣлое съ розовымъ, и была рада, что онъ, повидимому, нисколько не пострадалъ отъ вихря. «Но, пожалуй, шляпу снесло», закончила она съ легкимъ вздохомъ.

Между тѣмъ, Мэри и Лиза посмотрѣли одна на другую прежнимъ глубокимъ взглядомъ. Это значило, что «надо начинать». Онѣ сѣли рядомъ и были взволнованы. Но обѣ сдерживали себя, а Лиза, какъ и тогда, поблѣднѣла. Ей было трудно, тяжело...

Лиза стала говорить. Фаничкѣ казалось всегда, что Лиза ушла, чтобы выйти за кого-то замужъ. Теперь, изъ рѣчи Лизы, она поняла, что это неправда,—и только. Потому что, какъ скоро Лиза объяснила, что заставило ее

покинуть родныхъ, Фаничка успокоилась, даже немножко разочаровалась и перестала слушать, дѣлая видъ, что слушаетъ, а въ сущности мечтая о томъ, о семъ и, главнымъ образомъ, о Пьерѣ. Мэри, напротивъ, жадно внимала сестрѣ. Ее удивляло, что она все это ужь знаетъ, въ послѣднее время объ этомъ только и думаетъ, и — что важнѣе всего—читала все это въ евангеліи. Она съ восторгомъ смотрѣла на сестру, которая просто говоритъ о своемъ дѣлѣ, не кичится, но и не скромничаетъ. Уже со вчерашняго объясненія съ maman она поняла, что за человѣкъ Лиза. Теперь еще ярче обрисовалась передъ нею эта странная, кроткая, но сильная духомъ женщина. Чѣмъ проще она говорила, тѣмъ больше Мэри восторгалась. Глаза ея блистали, щеки горѣли.

— Лиза, прошептала она, наконецъ, припавъ къ ея рукѣ, и заплакала отъ счастія.— Лиза не сразу поняла ея слезы. Она въ испугѣ наклонилась къ ней. Но Мэри подняла свое измученное, счастливое лицо, и глаза ихъ встрѣтились. Тогда Лиза улыбнулась, не то радостно, не то скорбно, и сжала сестру въ объятіяхъ.

— Лиза, говорила шепотомъ Мэри: — я

еще раньше догадалась, что такъ все должно быть...

Фаничка очнулась отъ мечты о Пьерѣ и съ недоумѣніемъ смотрѣла на сестеръ. Потомъ подошла молча къ Лизѣ, сѣла по другую руку ея и стала нѣжно глядѣть ей въ лицо, ревнуя ее къ Мэри.

XXIV

На слѣдующій день, сдѣлавъ визитъ своему инспектору, Лиза уѣхала, о чемъ наканунѣ предупредила сестеръ. У ней были неотложныя дѣла – не по школѣ: стояло каникулярное время — а другія. Мэри и Фаничка просили ее писать, но она призналась, что не любитъ писать письма, и сказала, что не можетъ дать своего лѣтняго адреса, такъ какъ намѣрена побывать въ такихъ-то и такихъ-то городахъ, причемъ нигдѣ не разсчитывала прожить дольше сутокъ. Впрочемъ, она выразила надежду, что, пожалуй, черезъ мѣсяцъ завернетъ

сюда — на обратномъ пути, и повидается съ ними, что, конечно, лучше всякой переписки.

Жизнь въ домѣ Лоскотиныхъ пошла обычнымъ порядкомъ. Правильность ея теченія нарушалась развѣ сборами и приготовленіями къ губернаторскому вечеру, толками о матеріяхъ, о фасонахъ, о томъ, что, «однако, это кусается»...

Мэри ходила къ мадамъ Сесиль, торговалась, примѣряла платье; но все это дѣлала какъ-то машинально, боясь отказомъ разсердить мать, которую очень жалѣла и которой всячески старалась угодить, потому что предчувствовала, что время близко, когда придется страшно и серьезно огорчить ее. Было бы жестоко не дѣлать еще уступокъ ей въ мелочахъ. Огорченіе, которое она готовила матери, ясно не сознавалось ею: она не знала, въ какой формѣ оно выльется. Но оно должно было послѣдовать рано или поздно...

У ней голова шла кругомъ отъ множества мыслей, которыя приходили ей на умъ. Ей очень хотѣлось идти по стопамъ сестры, но она чувствовала себя безсильной, неспособной, бѣлоручкой, мало образованной, трусихой

и, вдобавокъ, была влюблена въ Пьера, что ее постоянно злило и отъ чего она подолгу плакала...

Чтобы закалить себя и пріучить къ разнаго рода лишеніямъ, она перестала пить чай, старалась за обѣдомъ наѣдаться первымъ блюдомъ и отказывалась отъ слѣдующихъ, купила себѣ грубые кожаные башмаки вмѣсто прюнелевыхъ, отъ чего у ней сейчасъ же начали мозолиться ноги, обмѣнялась съ горничной бѣльемъ и спала въ крестьянскихъ сорочкахъ, хотя тѣло у ней зудѣло на первыхъ порахъ и она едва преодолѣвала чувство брезгливости. Стоя на молитвѣ утромъ и вечеромъ, она била поклоны до тѣхъ поръ, пока спина не начинала болѣзненно ныть. Постель показалась ей слишкомъ мягкой, и на ночь она сбрасывала тюфякъ и пыталась спать на голыхъ доскахъ. Никогда еще не была она такъ религіозна, и лицо у ней приняло строгое выраженіе, временами удивлявшее Нину Сергѣевну.

Фаничка была очень рада предстоящему вечеру и очень часто мечтала, какъ она будетъ танцовать съ Пьеромъ. Мадамъ Сесиль дала ей слово сдѣлать ей нарядъ къ лицу и при этомъ замѣтила съ улыбкой, что это

вовсе нетрудно, такъ какъ у mademoiselle удивительная талія и вообще удивительное сложеніе. «Отчего этого никто при Пьерѣ не скажетъ?» подумала Фаничка, поворачиваясь передъ зеркаломъ и осматриваясь. Съ Пьеромъ она не видѣлась нѣсколько дней подрядъ. Когда въ послѣдній разъ она уходила изъ квартиры Лининыхъ, то Пьеръ дѣлалъ ей знаки глазами. Она не могла догадаться, что это такое. Довольно трудный языкъ. Гораздо лучше было бы придти и объяснить тихонько, въ чемъ дѣло. Но, конечно, онъ осторожничаетъ, боится maman!

Пьеръ, наконецъ, пришелъ, но не засталъ ни Фанички, ни Нины Сергѣевны. Это было часовъ въ пять, въ жаркій солнечный день, и онѣ, какъ объяснила ему горничная, стоявшая за воротами, поѣхали купаться. Дома осталась одна Мэри. Она сидѣла за роялемъ, въ залѣ, огромной полинялой комнатѣ, увѣшанной старинными, должно быть, хорошими картинами въ латунныхъ потускнѣвшихъ рамахъ...

Играла Мэри не много вещей, но играла недурно, хотя всегда для себя. Она издали еще увидала Пьера, покраснѣла, но не бросила играть. Во всѣхъ другихъ подобныхъ

случаяхъ непремѣнно бросила бы, а теперь пальцы какъ-то еще легче и красивѣе забѣгали по желтымъ клавишамъ, и звуки полились нѣжнѣе. Пьеръ зналъ, что она, обыкновенно, конфузится постороннихъ, и подумалъ, что она его не замѣчаетъ, увлекаясь музыкой. Улыбаясь, онъ на цыпочкахъ подошелъ къ ней, описавъ по залу полукругъ, и сталъ за ея спиной. Она покраснѣла сильнѣе, нахмурилась и все продолжала играть...

Ей было безотчетно пріятно. Какъ ни старалась она разозлиться на себя, — не могла. То, что теперь они одни въ домѣ, и то, что это сдѣлалось неожиданно, — волновало ей кровь. Сердце неотвязно запросило любви. Была необходимость играть, надо было дать выходъ этому взрыву. И она боялась оглянуться, боялась принять руку съ клавишъ...

Но вдругъ она почувствовала на своемъ затылкѣ жаръ отъ дыханія Пьера. Она оборвала пьесу, быстро оглянулась и тихо прошептала, почти съ любовью:

— Пьеръ!

Пьеръ никогда не видѣлъ у ней такого глубокаго, влажнаго взгляда. Онъ вздрогнулъ, но поспѣшилъ улыбнуться и протя-

нулъ ей руку. У ней были горячіе пальцы, и онъ удержалъ ихъ въ своей рукѣ.

Мэри потупилась и молчала, удивляясь, что она *это* позволяетъ ему, а онъ, вѣроятно, и не любитъ ее, и ухаживаетъ себѣ за Фаничкой... «Но пусть не любитъ!» крикнуло у ней что-то въ груди. «Пусть только длятся эти минуты!»

— Вы все это время были холодны со мной, сказалъ Пьеръ съ нѣжнымъ упрекомъ.

— Да, да! отвѣчала она съ раскаяніемъ.

Онъ сильнѣе наклонился къ ней, обнялъ ее сверху и посмотрѣлъ ей въ лицо.

— «Пусть!» думала она съ тоской и съ какимъ-то блаженнымъ ужасомъ.

Губы Пьера раскрылись... «Вотъ оно — блаженство, счастье, жизнь!» думала она, ослѣпленная, безумная, безпомощно бросивъ руку на клавиши, которыя глухо простонали. «Жизни, счастья!» шумѣла у ней въ ушахъ бунтующая кровь.

Пьеръ нашелъ, что стоять неудобно. Онъ сѣлъ, быстро придвинулъ стулъ къ стулу Мэри и опять обнялъ ее.

— Мэри, милая! — прошепталъ онъ съ искреннимъ увлеченіемъ. — Ты моя?

— «Онъ грубъ», подумала Мэри... «Грубъ!» повторила она съ новымъ приливомъ ужаса... и закрыла глаза рукой...

Но звякнула калитка, ворота со скрипомъ и стукомъ распахнулись...

Изъ оконъ видно было, какъ во дворъ въѣхали парныя извощичьи дрожки съ Ниной Сергѣевной и Фаничкой, державшейся за поясъ извощика, потому что ей было неудобно сидѣть рядомъ съ maman, занимавшей много мѣста...

Пьеръ и Мэри вскочили и растерялись.

Ей вдругъ стало стыдно Пьера, стыдно самой себя, стыдно стѣнъ. Точно сонъ привидѣлся ей, отъ котораго краска бросилась ей въ лицо, когда она проснулась. Казалось, множество глазъ разомъ увидѣли ея позоръ, и ею овладѣлъ страхъ, гадкій и низкій. Она не могла ему противиться и побѣжала, съ трудомъ подавляя въ груди холодный крикъ ужаса, невольно рвавшійся наружу...

Пьеръ оправился скоро. Ему было нестолько стыдно, сколько досадно. Онъ сталъ ходить по залѣ широкими шагами и придумалъ объясненіе, хотя оно оказалось излишнимъ. Онъ хотѣлъ разсказать, какъ засталъ Мэри за музыкой, какъ она сконфузилась,

убѣжала, и съ тѣхъ поръ, минутъ десять, онъ бродитъ здѣсь одиноко и наслаждается созерцаніемъ вотъ этихъ произведеній старыхъ мастеровъ... Но его никто не спросилъ, зачѣмъ онъ здѣсь. И безъ него догадались, что Мэри у себя. Онъ жалѣлъ, что не разставилъ во-время стульевъ. Но и на это не обратили вниманія. Съ нимъ ласково поздоровались, и Нина Сергѣевна ему даже какъ-будто обрадовалась. О Фаничкѣ и говорить нечего. Когда Нина Сергѣевна направилась, тяжело вздохнувъ отъ усталости, въ гостиную и кликнула Антипьевну, чтобъ та набила ей трубку, Фаничка беззвучно и торопливо поцѣловала его, сверкая глазами, и, въ отвѣтъ на его боязливый жестъ, со смѣхомъ разсказала ему, что дамскую купальню унесло вихремъ и онѣ напрасно проѣздились. Теперь строятъ новую...

— Да, а твоя шляпа? шепнула она съ тревогой.

— Цѣла.

— А о чемъ ты мнѣ подмигивалъ тогда?

Онъ улыбнулся.

— Приходи завтра... послѣ обѣда... Лининыхъ все еще нѣтъ... — сказалъ онъ.

Она взглянула на него яркимъ, полусерьез-

нымъ взглядомъ и отрицательно потрясла головой.

— А туда? спросилъ онъ.

Она потупилась и играла стальной цѣпочкой у своего пояса.

— Туда? переспросила она.

— Да, — произнесъ Пьеръ.

— Никуда! сказала она весело и громко, такъ что Пьеръ опять испугался. И, повернувшись на одной ногѣ, нѣжно улыбнулась ему и побѣжала, подпрыгивая, въ слѣдующую комнату, гдѣ, на глазахъ у Нины Сергѣевны, обняла Антипьевну и поцѣловала. Затѣмъ крикнула:

— Мсье Пьеръ, пойдемте въ садъ, посмотрите, что сдѣлалось съ моими бѣдными цвѣточками...

— «Ахъ, цвѣточки мои!..» пѣла она черезъ минуту въ глубинѣ сада, и голосъ ея былъ особенно звученъ. Пьеръ шелъ рядомъ съ ней и молчалъ. Ему казалось, что Мэри должна смотрѣть на него съ антресолей.

Но онъ ошибался. Мэри лежала на полу, ницъ, передъ кіотомъ, горько плакала и, въ изступленіи, не имѣя силъ вынести нравственной муки, рвала свои волосы...

XXV

НАСТАЛЪ день, въ который Черемисовы давали вечеръ.

Пьеръ, разсказывавшій, что онъ принятъ у губернаторши — сообщалъ онъ это всегда «между прочимъ», «кстати», — на самомъ дѣлѣ въ первый разъ долженъ былъ появиться въ ея салонѣ. До сихъ поръ онъ бывалъ въ домѣ Черемисовыхъ только какъ учитель маленькаго князя. Онъ волновался, поминутно совѣтовался съ портнымъ, которому задолжалъ до ста рублей, и всѣмъ жаловался, что въ городѣ нѣтъ хорошихъ свѣжихъ перчатокъ.

— Представьте, лайка блеститъ, какъ клеенка! восклицалъ онъ огорченный.

Чѣмъ ближе подходилъ срокъ ѣхать на вечеръ, тѣмъ сильнѣе становилась его тревога. Онъ мысленно постоянно расшаркивался, улыбался, говорилъ по-французски, нѣсколько разъ отпустилъ bon mot самому губернатору; а также прекрасно танцовалъ съ Клавдіей Аполлосовной, которая, впрочемъ, все время рисовалась ему, какъ нѣчто высшее и недоступное, и онъ сознавалъ, что эта послѣдняя мечта есть такъ себѣ — «мечтаніе пустое».

Всего пуще боялся онъ сдѣлать что-нибудь безтактное. Въ университетскомъ городѣ, гдѣ онъ жилъ недурно, издавая литографированныя записки профессоровъ, ему случалось бывать на вечерахъ. Но, во-первыхъ, то были вечера почти мѣщанскіе. Во-вторыхъ, тамъ его знали только какъ студента, здѣсь же всѣмъ было извѣстно, что онъ сынъ бывшаго квартальнаго, о разныхъ подвигахъ котораго доселѣ еще носятся цѣлыя легенды. Покойный отецъ его былъ не современный «помощникъ пристава» или «приставъ» — субъектъ уже нѣсколько «облагороженный», — а настоящій квартальный, «кварташка» героическаго періода... Пьеръ стыдился этого и чувство-

валъ, что, пожалуй, здѣсь, въ родномъ городѣ, ему не разыграться, какъ тамъ, гдѣ онъ могъ ломать изъ себя настоящаго дворянчика...

— «Но что же могу я сдѣлать безтактнаго?» думалъ онъ. «Бонъ-мо губернатору ни съ того, ни съ сего не отпущу, держать себя съумѣю... А вотъ развѣ передъ Клавдіей Аполлосовной сконфужусь»...

И онъ съ тоской смотрѣлъ на свою новую пару, висѣвшую въ его комнатѣ на стѣнѣ, въ бѣлой простынѣ, сколотой булавками...

XXV

ТЬЕРЪ отправился на вечеръ въ половинѣ одиннадцатаго. Ночь была темная, пасмурная. Керосиновые фонари спокойно горѣли, чуть освѣщая фасады домовъ съ плотно закрытыми ставнями. Ничто не говорило о праздничномъ шумѣ, о блескѣ, о томъ, что онъ ожидалъ встрѣтить у Черемисовыхъ. Все было обыденно, и онъ проникался жалостью къ обитателямъ этихъ скромныхъ жилищъ, повитыхъ сномъ и скукой...

Когда онъ очутился въ передней губернаторскаго дома и до него донесся говоръ гостей и шумъ шаговъ и платьевъ, его

охватилъ радостный испугъ. Того, чего онъ боялся — чувства неловкости — совсѣмъ какъ не бывало. Онъ увидѣлъ, что находится въ согласіи съ своимъ собственнымъ идеаломъ порядочнаго человѣка. Фракъ сидѣлъ на немъ прекрасно. И самъ онъ былъ прекрасенъ — онъ это сознавалъ. Шумъ многолюднаго вечера влилъ въ него бодрость. Онъ съумѣлъ войти въ залу просто и съ «достоинствомъ».

Въ залѣ было много мягкаго свѣта и оранжерейной зелени. Широкіе и перистые листья пальмъ вырѣзывались на бѣломъ фонѣ филейныхъ гардинъ и иногда чуть-чуть колебались высоко надъ головами гостей. Черные фраки кучками тѣснились тамъ и сямъ или одиноко бродили между модныхъ платьевъ съ длинными шлейфами и темными бантами на груди и выше колѣнъ. Мундиры сверкали своими золотыми и серебряными пуговицами и звякали шпорами.

Изъ залы направо виднѣлась анфилада комнатъ. Тотъ же мягкій свѣтъ, та же зелень. Но тамъ фраковъ и мундировъ было меньше — преобладали дамы. Онѣ сидѣли и ходили и оживленно, празднично разговаривали, граціозно посмѣивались, и вѣера тре-

петали у нихъ на груди, какъ огромныя бабочки. На первомъ планѣ можно было еще разглядѣть этихъ дамъ. На нихъ были бальныя платья съ кружевами и атласной отдѣлкой. Корсажи у иныхъ были обтянуты стальными сѣтками и горѣли, какъ кирасы акробатовъ. Пьеръ видѣлъ модныя прически, бѣлыя лица, бѣлыя шеи. Вотъ мелькнула рука въ бѣлой перчаткѣ выше локтя и едва прикрытая у плеча газовой дымкой. Вотъ мелькнула тонкая талія, вся тѣлеснаго цвѣта. На плечѣ полной дамы, въ темнолиловомъ, дрожитъ огромный красный бантъ. Но затѣмъ комнаты казались наполненными чѣмъ-то вродѣ облачковъ, полупрозрачныхъ и пестрыхъ, и только, какъ сквозь легкій туманъ, можно было различить, въ этой сіяющей дали, постоянно мелькающіе тамъ и сямъ букеты, лица, банты, плечи, локти, руки, эполеты, вѣера, воротники мужчинъ.

Пьеръ жадно глядѣлъ кругомъ. Онъ жадно вдыхалъ теплый бальный воздухъ, пропитанный духами и безпрестанно освѣжаемый — въ сосѣдней комнатѣ двери въ широкую галлерею и въ садъ были отворены настежь, — и искалъ глазами Черемисовыхъ.

Черемисовъ, высокій, худой старикъ, съ тусклыми глазами и отвислой губой, стоялъ недалеко отъ Пьера, окруженный пожилыми и почтенными людьми, въ числѣ которыхъ былъ и жандармскій полковникъ съ необыкновенно краснымъ лицомъ. Всѣ слушали, а губернаторъ велъ степенную рѣчь, чуть-чуть раскачиваясь на каблукахъ всѣмъ корпусомъ.

Пьеръ сталъ ждать, когда Черемисовъ самъ замѣтитъ его. Онъ подстерегъ его взглядъ и отвѣсилъ ему глубокій поклонъ. Тотъ прищурился и протянулъ Пьеру руку.

Молодой человѣкъ отошелъ отъ губернатора, пріятно улыбаясь.

«Говорятъ, министромъ будетъ», думалъ онъ.

Тутъ къ Пьеру подбѣжалъ, потрясая аксельбантомъ, графъ де-Гужаръ, адъютантъ краснощекаго полковника, юный и стройный блондинъ съ голубымъ, любящимъ взглядомъ. Онъ схватилъ Пьера за обѣ руки и сказалъ:

— Вы визави... Хорошо?... Сейчасъ кадриль... Берите скорѣе даму...

Пьеръ торопливо поклонился и пошелъ искать даму. Онъ вспомнилъ о Фаничкѣ и

Мэри, и ему хотѣлось пригласить которую-нибудь изъ нихъ. Онъ отыскалъ ихъ въ третьей комнатѣ. Онѣ сидѣли рядомъ.

Фаничкѣ удалось уже протанцовать польку съ какимъ-то офицеромъ. Но она была недовольна, что нѣтъ Пьера и никто не любуется на нее. А платье на ней было удивительное. Она готова была вертѣться передъ зеркаломъ и все смотрѣть на себя. Корсажъ изъ блѣднорозовой матеріи и такая же юпка, и все это отдѣлано свѣтло-свѣтло-голубымъ фаемъ. Вмѣсто бантовъ, въ волосахъ, на лѣвомъ плечѣ, у полуоткрытаго кружевнаго ворота — маленькіе букеты изъ золотыхъ колосьевъ и маргаритокъ. «Неужто Пьеръ такъ меня и не увидитъ?» безпокоилась она. Но на минуту забывала о немъ, когда мимо проходили дамы въ стальныхъ сѣткахъ на таліи или въ бусахъ. «Ахъ, мадамъ Сесиль, отчего она мнѣ не сдѣлала такой сѣтки!» восклицала она мысленно съ завистью. И потомъ съ торжествомъ шептала что-то Мэри, не одобрявшей ея пристрастія къ мишурѣ.

Мэри все время было не по себѣ. Она никакъ не воображала, что балъ такая невыносимая пытка. Всѣ эти дамы, разрядив-

шіяся въ пухъ и прахъ, казались ей дурами, всѣ эти фрачники и военные — дураками, и она испытывала неловкое чувство человѣка, попавшаго добровольно не въ свое общество и только тогда замѣтившаго промахъ. Она прислушивалась къ отрывочнымъ фразамъ, носившимся въ воздухѣ, кругомъ, и злилась. Ее раздражали нафабренные офицерики. Они развязно идутъ возлѣ дамъ, держа лѣвую руку у сердца, и постоянно произносятъ — всѣ на одинъ и тотъ же ладъ: «Да-а?» «Та-акъ?» Раздражали дамы своимъ черезчуръ милымъ смѣхомъ и кокетливыми взглядами. Она злилась на Фаничку, на самое себя. Ей было стыдно своихъ голыхъ рукъ, дорогаго наряда. Кромѣ того, каждую минуту она съ ужасомъ ждала, что увидитъ Пьера, и приготовляла въ умѣ злые и холодные отвѣты на его неизбѣжные разспросы и намеки. Она его ненавидѣла — не могла простить ему той сцены... Онъ казался ей эгоистомъ, и постоянно въ ушахъ ея звучали слова Лизы, что онъ «пустенькій». Этотъ человѣкъ, который... — да! конечно, онъ не любитъ ее!.. — поражалъ ее своимъ безстыдствомъ,—какъ онъ могъ сказать ей: «ты моя!»? Онъ былъ единствен-

ный свидѣтель ея позорной слабости, и она вздрагивала отъ этой мысли, тупо и враждебно глядя на всѣхъ...

Но подошелъ Пьеръ. Фаничка радостно покраснѣла, сверкнувъ жемчужными зубками. И также радостно взглянула на него Мэри. У ней закружилась голова, что-то заныло внутри, и ей захотѣлось крѣпко пожать ему руку, и она все забыла—всѣ муки свои, всѣ терзанія, и жила только имъ.

Пьеръ посмотрѣлъ на нее ласково, чуть-чуть прищурившись, точно смѣялся глазами, и Мэри, понявшая изъ этого взгляда, что онъ считаетъ ее безусловно своею, вспыхнула, потупилась, но затѣмъ опять подняла на него глаза, горѣвшіе какъ алмазы.

Пьеръ подумалъ, что надо пригласить ее, но пригласилъ Фаничку, такъ какъ Фаничка ему больше нравилась. Губы Мэри дрогнули...

Затѣмъ, присѣвъ на минуту, Пьеръ вдругъ вскочилъ и сказалъ съ тревогой:

— Сидите здѣсь, Фаничка, мнѣ надо поклониться хозяйкѣ дома... Кажется, вотъ она... Я сейчасъ...

Онъ ушелъ, и Мэри смотрѣла ему вслѣдъ и снова начинала его ненавидѣть...

Во второй комнатѣ, гдѣ была Клавдія Аполлосовна, Пьеръ увидѣлъ Нину Сергѣевну и Федотову. Онѣ сидѣли поодаль за мраморнымъ столикомъ, пили оршадъ и разговаривали. Очевидно, онѣ только-что познакомились. Пьеръ встрѣтилъ глаза Нины Сергѣевны, недружелюбно пронизавшіе его — должно быть, ложь его насчетъ коляски была уже раскрыта — и сдѣлалъ видъ, что не узнаетъ ея.

«Пожалуй, гадость выйдетъ», подумалъ онъ съ досадой.

Въ это время музыка грянула ритурнель кадрили. Всѣ взволновались. Кавалеры бросились разыскивать дамъ.

Пьеръ повернулся и очутился лицомъ къ лицу съ Клавдіей Аполлосовной, и смущенно привѣтствовалъ ее. Эта худая, стройная красавица, съ молодымъ лицомъ и холодными глазами, странно дѣйствовала на него. Онъ оробѣлъ-таки, когда она подала ему руку, въ длинной по локоть перчаткѣ. Сегодня она была поразительно хороша. Платье на ней было, конечно, не здѣшняго шитья — новое, но какъ-будто уже немного ношеное, присидѣвшееся, и не то простенькое, не то очень богатое. На груди съ выкатомъ

и голыхъ плечахъ, повсюду чувствовались кружева, точно струйки дыма, сквозь который тамъ и сямъ мерцалъ серебристый атласъ. Пьеръ сильно пожалъ ей руку и испугался. Онъ это невольно сдѣлалъ. Она подняла на него глаза и прищурилась. Онъ понравился ей.

— Вотъ отлично, сказала она съ своей усмѣшкой:—вы будете моимъ кавалеромъ... А кто визави?.. Есть?..

Пьеръ съ секунду стоялъ ошеломленный. Мечта, казавшаяся несбыточной, стала дѣйствительностью. Счастіе выпало огромное. Онъ мысленно махнулъ рукой на Фаничку, на Мэри, на Нину Сергѣевну съ ея недружелюбнымъ взглядомъ.

— Графъ *де-Гужаръ*, сказалъ онъ, переводя дываніе, съ граціозной улыбкой, и повелъ Клавдію Аполлосовну въ танцовальную залу.

Онъ танцовалъ хорошо. На ея французскую фразу отвѣтилъ по-французски, и у него оказался недурной выговоръ. Клавдія Аполлосовна была удивлена и насмѣшливо посматривала на него отъ времени до времени и спрашивала себя: «куда же дѣлся дикарь?»

Пьеръ, точно въ отвѣтъ, улыбался ей. «Немножко дикаря еще есть», думала Клавдія Аполлосовна, глядя на его бѣлые зубы и сама улыбаясь.

Кадриль кончилась. Клавдія Аполлосовна насмѣшливо поблагодарила Пьера и ушла. Онъ немного растерялся. «Мнѣ вѣдь надо было»... подумалъ онъ. И вдругъ встрѣтилъ Фаничку. У ней было блѣдное лицо, сердитые глаза. Тутъ онъ растерялся еще больше. Онъ сталъ оправдываться. Она пожала плечами и ничего не сказала. Онъ пошелъ съ нею и долго говорилъ. Но она все молчала. Тогда онъ прошепталъ:

— Вы меня сильнѣе обижаете... Каждый разъ назначаете свиданіе и...

— Это не то! — сказала она съ досадой.

— Во всякомъ случаѣ, простите, — сказалъ Пьеръ.

— Никогда! — произнесла Фаничка.

— Слѣдующая кадриль...—сказалъ Пьеръ.

— Оставьте, пожалуйста! — сказала Фаничка.

Пьеръ увидалъ вдали Нину Сергѣевну и сдѣлалъ крутой оборотъ. Но при этомъ почувствовалъ боль въ груди, ему стало жаль чего-то. Пройдя нѣсколько шаговъ,

онъ оглянулся и посмотрѣлъ на Фаничку. Возлѣ нея стоитъ высокій брюнетъ — онъ зналъ, что это какой-то заѣзжій литераторъ—и, очевидно, приглашаетъ ее танцовать. Фаничка киваетъ головой, даетъ ему руку. Пьеръ сжалъ губы и, бросивъ на литератора враждебный взглядъ, отправился дальше...

Гремѣлъ вальсъ. Пары кружились. Шлейфы дамъ вытягивались, и изъ-подъ платьевъ виднѣлись сближенные носки ботинокъ, прямые, острые. Фраки тѣсной кучкой стояли у дверей и съ любопытствомъ смотрѣли на танцующихъ. Пьеръ видѣлъ, какъ Фаничка пронеслась съ литератромъ. Пронеслась полная дама въ лиловомъ, держа голову въ профиль. Пронеслась Клавдія Аполлосовна съ де-Гужаромъ. Ему самому страстно захотѣлось танцовать. Онъ подхватилъ дѣвушку въ корсажѣ тѣлеснаго цвѣта и началъ кружиться съ нею, потомъ съ другой, съ третьей. Онъ чувствовалъ, что никогда еще въ жизни такъ хорошо не танцовалъ. Этотъ бѣшеный ритмическій бѣгъ съ красивыми женщинами, среди другихъ паръ, вертящихся кругомъ, во всѣхъ углахъ, съ съумасшедшимъ упоеніемъ, на-

полнялъ его радостью, восторгомъ. И, вдобавокъ ко всему, ему казалось, что пара чьихъ-то холодныхъ, насмѣшливыхъ глазъ пронизываетъ его и постоянно слѣдитъ за нимъ. Это ужь было верхомъ блаженства, и онъ не слышалъ земли подъ собой...

Посадивъ даму, онъ увидѣлъ, что Клавдія Аполлосовна почти лежитъ на диванчикѣ, блѣдная и утомленная, съ высоко и часто поднимающейся грудью, но по ея улыбкѣ и приказывающему выраженію лица заключилъ, что ей хочется еще вальсировать. Онъ подбѣжалъ къ ней, и она сейчасъ же вскочила, положила ему на плечо руку, и они понеслись, кружась. Онъ слышалъ, какъ шуршитъ ея платье, какъ тяжело она дышитъ — все скорѣе и скорѣе, какъ въ тактъ змѣится ея тѣло, и онъ не прочь былъ бы вѣчно танцовать съ нею. Но она сказала: «Довольно!» и онъ ловко посадилъ ее на прежнее мѣсто, и она опять упала, еще болѣе блѣдная и задыхающаяся.

Пьеръ самъ задыхался. Какъ только вальсъ кончился, онъ почувствовалъ, что умираетъ отъ усталости. Бальный воздухъ былъ душенъ. Пьеръ бросился въ садъ. За нимъ потянулись другіе. По пути, въ

комнатѣ налѣво, онъ увидѣлъ нѣсколько зеленыхъ столовъ, за которыми сидѣли разные губернскіе тузы — начальникъ мѣстныхъ войскъ въ жирныхъ эполетахъ, акцизный управляющій, съ длинными тараканьими усами, Шаровицынъ, самъ губернаторъ, какіе-то старички, и спокойно играли въ карты. Въ огромной галлереѣ мягко сіяли китайскіе фонари среди плющевыхъ гирляндъ. Обнявшись, ходили барышни, тихо болтали и энергично обмахивались вѣерами. Пьеръ сошелъ по ступенькамъ въ садъ. Садъ дремалъ, слабо освѣщенный. Только въ одной аллеѣ горѣли пестрые шкалики. Прочія были погружены въ сумракъ.

Пьеръ шелъ, и мягкій вѣтерокъ, который въ другое время былъ бы незаметѣнъ, пріятно освѣжалъ его разгоряченный лобъ. Садъ былъ почти незнакомъ ему, дорожки прихотливо переплетались, но онъ все подвигался впередъ. Ему хотѣлось попасть въ освѣщенную аллею, откуда слышался веселый говоръ, — и вмѣсто этого онъ вдругъ уперся въ маленькую бесѣдку, наподобіе грота. Дорожка кончалась тутъ, и надо было идти назадъ, чтобы проникнуть въ ту аллею. «Можетъ быть, встрѣчу тамъ Фаничку»,

подумалъ онъ съ легкой тоскою. И уже повернулся, какъ позади его, въ бесѣдкѣ, послышался шорохъ платья и шепотъ:

— Пьеръ!

Онъ вздохнулъ и вошелъ въ бесѣдку. На скамейкѣ, въ ночной мглѣ, сумеречнымъ пятномъ выдѣлялась женская фигура.

— Кто? спросилъ онъ, садясь возлѣ нея, но уже догадываясь кто.

Фигура глухо сказала:

— Мэри.

— Мэри! вскрикнулъ онъ.—Какимъ образомъ?

— Что за вопросъ?.. Здѣсь я ужь полчаса, и у меня заплакано лицо... Я плакала здѣсь...

— О чемъ? спросилъ Пьеръ съ тревогой.

— Пьеръ! ради Бога! начала Мэри взволнованнымъ шепотомъ: — скажите мнѣ, что вы за человѣкъ? Я васъ не могу уважать... Отого и плакала, что не знаю васъ... Скажите, Пьеръ!

— Мэри! нѣжно прошепталъ Пьеръ, тяжело еще дыша отъ вальса и отчасти отъ того, что съ нимъ теперь наединѣ эта дѣвушка.—Мэри! повторилъ онъ и обнялъ ее.

— Примите вашу руку, сказала она стро-

го, не двигаясь, и онъ повиновался, вдругъ простывъ.

Наступило молчаніе.

— Вы слышите, о чемъ я прошу васъ, Пьеръ? начала Мэри. — Это серьезная просьба.

Пьеръ сказала:

— Право... я затрудняюсь... Въ другое время развѣ... Не уважаете, разумѣется... Уважаютъ только почтенныхъ...

Онъ усмѣхнулся.

— Но что, въ самомъ дѣлѣ, могу я сказать вамъ? вдругъ спросилъ онъ, наклоняясь къ ней. — Въ какомъ смыслѣ?

— Я вамъ помогу, сказала Мэри. — Вамъ не стыдно за этотъ балъ?

— Какъ стыдно? воскликнулъ Пьеръ, изумленный. — Балъ блистательный!!

— Конечно, блистательный, съ досадой сказала Мэри. — Танцовать пріятно... Пріятно, что наряженъ не хуже другихъ... И такъ далѣе... Но когда проходитъ чадъ... на минуту или даже на секунду... вдругъ представляется все такимъ гадкимъ... такимъ безсовѣстнымъ... И дѣлается стыдно, зачѣмъ пришелъ на праздникъ этихъ... — Она перевела дыханіе. — Это такъ, вдругъ

промелькнетъ... Мнѣ кажется, это у всякаго... Стыдно не только за себя, а и за всѣхъ... Ну, вотъ съ вами это бываетъ?.. Было сегодня?..

Пьеру сдѣлалось скучно. Вальсъ звучалъ еще въ его ушахъ. И глаза Клавдіи Аполлосовны, казалось, загадочно и насмѣшливо смотрятъ изъ ночной темноты. Мэри продолжала говорить, добиваясь отъ него отвѣта, голосъ ея дрожалъ, она волновалась и плакала, но Пьеръ почти не слушалъ ея. Пальцы его нетерпѣливо барабанили по скамейкѣ. Наконецъ, онъ всталъ.

— Пьеръ? Что же вы?.. — вскричала Мэри. — Ни слова!?..

— Это вы насчетъ стыда? спросилъ Пьеръ и захохоталъ.—Вы ужасно странная!.. Пойдемте лучше, сказалъ онъ, хватая ее за руку. Слышите—музыка?! крикнулъ онъ съ оживленіемъ. — Пойдемте!

Мэри вырвала руку и тихо сказала:

— Уходите.

Онъ ушелъ бѣгомъ. Но она сейчасъ же раскаялась, что отпустила его. Онъ слышалъ, какъ она звала его, почти кричала: «Пьеръ! Пьеръ!» съ мольбой въ голосѣ, и онъ зналъ, что значитъ этотъ молящій

тонъ — зналъ и не вернулся, потому что ему хотѣлось танцовать.

Танцы длились еще часа полтора. Графъ де-Гужаръ велъ безконечную кадриль и молодымъ, охрипшимъ голосомъ кричалъ команду: «chaine de dames!» «chaine de messieurs!» «en avant!» И такъ далѣе. Всѣ повиновались и поворачивались направо и налѣво, галопировали, подавали другъ другу руки съ одной и той-же улыбочкой, усталые, счастливые. Музыканты-жидки страстно пилили на скрипкахъ, дули въ кларнеты и флейты, и ихъ черныя длиннополыя фигуры качались на эстрадѣ, въ глубинѣ залы, точно они были маги, странными тѣлодвиженіями и гармоничными звуками заставляющіе у своихъ ногъ бѣсноваться эту нарядную и интеллигентную толпу...

Послѣ кадрили была мазурка, а затѣмъ всѣ двинулись ужинать. Огромный столъ былъ накрытъ въ галлереѣ, весь въ цвѣтахъ, серебрѣ и канделябрахъ, отражавшихъ свои огни въ граненомъ хрусталѣ. Клавдія Аполлосовна съ безпокойствомъ взглянула на учителей гимназіи, которые не танцовали и весь вечеръ держались тѣсной кучкой, пощипывая бородки и бороды, а теперь пер-

вые заняли мѣста и самодовольно пореглянулись. Первые усѣлись точно также и чиновники губернскаго правленія, напряженно улыбаясь. Хозяйка дома опасалась, что за общимъ столомъ не хватитъ мѣстъ всѣмъ дамамъ и нѣкоторыхъ изъ нихъ придется посадить отдѣльно, вслѣдствіе чего могутъ произойти непріятности, ибо провинціальныя дамы щепетильны.

Такъ и случилось. Самыя почтенныя дамы и самыя уважаемыя — за преклонный возрастъ и чистоту дворянской крови — должны были занять отдѣльный столикъ. Нинѣ Сергѣевнѣ, попавшей за этимъ столикъ, это не понравилось. И хотя Клавдія Аполлосовна постоянно подходила къ тому столику и, между прочимъ, говорила ей въ высшей степени любезныя и пріятныя вещи, она ничего не могла ѣсть отъ волненія.

Вообще Нина Сергѣевна весь день чувствовала себя нехорошо. Еще съ утра былъ посланъ на хуторъ человѣкъ за лошадьми, куда онѣ, изъ экономіи, каждое лѣто усылались на подножный кормъ, и до десяти часовъ не возвращался съ ними, такъ что она выходила изъ себя. Счетъ мадамъ Сесиль вывела не въ пятьдесятъ и не въ семь-

десятъ, а въ сто тридцать семь рублей. Затѣмъ обивка въ каретѣ оказалась сорванной. Кто сорвалъ—неизвѣстно. Но пришлось ѣхать такъ, безъ обивки, и всю дорогу мучиться. Въ уборной горничныя сняли съ нея и съ Мэри и съ Фанички клочки войлока, съ услужливой улыбкой, что опять разозлило Нину Сергѣевну — ей стало стыдно передъ «чужими слугами», а это для нея была одна изъ высшей степеней стыда. Когда она познакомилась съ Федотовой, дамой съ бѣлымъ, напудреннымъ лицомъ и большимъ, тонкимъ ртомъ, и, наконецъ, успокоившись отъ треволненій дня, стала бесѣдовать съ ней по душѣ, съ соблюденіемъ дворянскаго тона и дворянской привѣтливости, то и тутъ вскорѣ вышли непріятности. Оказалось, что Федотова не участвовала совсѣмъ въ загородномъ гуляньѣ молодыхъ людей. Коляски у ней не имѣется, а «ѣздіетъ» она въ маленькой двумѣстной каретѣ. О гуляньѣ слыхала... «Это было вотъ когда...» сказала она и точно опредѣлила время. Ея нянька-старуха видѣла на разсвѣтѣ изъ окна толпу гимназистовъ и гимназистокъ, а также Рубанскаго, котораго знаетъ — онъ былъ у Федотовой раза два, но его приняли холодно, и онъ

теперь у ней не бываетъ. Рубанскій велъ подъ-руку двухъ красивыхъ дѣвушекъ, блондинку и блюнетку. На одной была «черкесская кофта», по словамъ няньки. Всѣ были «немножко въ градусѣ», нѣкоторые даже падали и потомъ, говорятъ, утромъ ихъ подбирали на улицахъ—«этихъ несчастныхъ дѣвочекъ и мальчиковъ», сказала Федотова, сверкнувъ черными глазками съ *наслажденіемъ* — такъ показалось Нинѣ Сергѣевнѣ, которая, багровѣя, слушала свою собесѣдницу и уже ненавидѣла ее всѣми силами. «Но этого мало, продолжала Федотова радостнымъ шепотомъ. — Что у нихъ было тамъ за Десной, въ лѣсу! Ну, положительно, всѣ говорятъ, что это было... что это было что-то»... Она потрясла головой, ладонью, и стала шептать Нинѣ Сергѣевнѣ нелѣпый разсказъ. Та оборвала ее, грубо сказала: «Это неправда, тамъ были мои дочери — Лос-ко-ти-ны, милостивая государыня!» — выразительно постучала себѣ въ грудь и отвернулась, опрокинувъ оршадъ, который потекъ по мраморной доскѣ на платье Федотовой. Очевидно, съ этого момента Федотова должна была сдѣлаться ея злѣйшимъ врагомъ. Всѣмъ же этимъ Нина

Сергѣевна была обязана Пьеру, который устроилъ это гулянье и навралъ про коляску и проч. Ничего такъ не боялась Нина Сергѣевна, какъ злословія. Сама она никогда не сплетничала — это была ея дворянская черта — и не любила слушать сплетенъ, но вѣрила, что во всякомъ вздорномъ слухѣ есть частица правды. Если на разсвѣтѣ Пьеръ велъ подъ-руку ея дочерей черезъ весь городъ, въ компаніи подвыпившей молодежи, то ужь и это былъ безпримѣрный скандалъ... Она гнѣвно вздохнула, и ей показалось, что въ гостиной нѣтъ воздуха и что платье на ней слишкомъ тяжело — старинное, добротное, изъ гранатнаго гро-гро — и что особенно тяжела ея брошка у горла, усѣянная крупными алмазами и изумрудами плоской грани и украшавшая когда-то поясъ ея предка, гетмана Вернидуба.

Теперь, за ужиномъ, Нина Сергѣевна опять стала задыхаться. Въ огромной галлереѣ, открытой съ боковъ, такъ что виднѣлось черное небо, воздуху для нея было мало попрежнему — даже меньше, чѣмъ въ гостиной. Она хваталась отъ времени до времени за шею и тихонько разстегнула воротъ платья, но брошку, казавшуюся ей

пудовой, не снимала — надо было, чтобъ постоянно всѣ видѣли эти камни, которымъ уже двѣсти лѣтъ и которые дороже и выше всякихъ орденовъ. Въ ушахъ у ней стучало, сердце билось неровно...

Она досидѣла до конца ужина и затѣмъ, подозвавъ дочерей, строго сказала имъ:

— Ѣдемъ...

Фаничка, у которой блестѣли глаза отъ шампанскаго и бесѣды съ литераторомъ, посмотрѣла на нее съ лукавой, просительной улыбкой, но вдругъ спросила тревожно:

— Ахъ, что съ вами, maman?

— Ничего, хрипло прошептала она.

Мэри еще съ большей тревогой взглянула на мать. «Въ самомъ дѣлѣ — что это съ maman?» подумала она. «Измучилась?!. Бѣдная! Всю ночь!.. И ради чего? Глупый, гадкій балъ!» Но, взглянувъ въ другой разъ, замѣтила гнѣвъ въ ея глазахъ, что-то грозное, страшное... Она отвернулась и вздохнула съ горечью...

Онѣ уѣхали первыя. Свѣтало.

XXVII

Въ каретѣ Нина Сергѣевна повелительно сказала:

— Этого мерзкаго мосье Пьера не принимать.

Дѣвушки потупились.

Фаничка подумала: «его таки надо проучить», но была поражена словами maman, какъ громомъ. Тысячи предположеній зароились у ней въ головѣ, и она посмотрѣла на Мэри, поднявъ бровь.

Мери сурово сказала себѣ: «Вотъ оно что!.. Къ лучшему»... И не пыталась унать, за что Пьера постигаетъ такая немилость. Нина Сергѣевна опустила окна и жадно ловила воздухъ, дыша всей грудью. Брошка

давила ее попрежнему. Она рванула ее и бросила Мэри, сказавши отрывисто:

— Спрячь!

Дорога была ровная, лошади одичали на хуторѣ и почти несли; деревья, дома, фонари мелькали по обѣимъ сторонамъ, сливаясь въ разсвѣтномъ сумракѣ въ сплошныя, бѣгущія назадъ полосы. Какая-то гайка немилосердно дребезжала, казалось, надъ самымъ ухомъ Нины Сергѣевны. Но она терпѣла ее, и быстрота, съ какой ѣхала карета, немного освѣжала ее. Она взглянула на небо. Черныя тучи были съ алымъ оттѣнкомъ, на востокѣ горѣла рубиновая заря. Сумрачный свѣтъ въ каретѣ и на улицѣ былъ пропитанъ какимъ-то блѣдно-краснымъ блескомъ. Лица Мэри и Фанички были тоже блѣдно-красныя. Она забыла вдругъ всѣ свои огорченія и съ любопытствомъ поворачивала голову направо и налѣво. Ей стало лучше. Воздуху, свѣжаго и холоднаго, было такъ много, что ей казалось, что она пьянѣетъ отъ него. И въ самомъ дѣлѣ у ней стала кружиться голова — сильнѣе и сильнѣе. Спать ей захотѣлось неудержимо. Но вдругъ она почувствовала, что карета сильно наклонилась на-бокъ — Мэри и Фа-

ничка, сидѣвшія противъ, тоже наклонились, но какъ-то странно — лица у нихъ сохраняютъ все то-же выраженіе, имъ даже невдомекъ, что онѣ падаютъ, что уже упали. Онѣ — точно куклы деревянныя. Нина Сергѣевна судорожно схватилась за войлокъ и стала кричать и метаться. Тогда, наконецъ, очнулись Мэри и Фаничка и протянули къ ней руки съ тревогой и испугомъ. Карета нетолько наклонилась и ѣхала бокомъ — «кто-то сейчасъ укралъ рессору, должно быть Пьеръ» — но и, казалось, перевернулась нѣсколько разъ. Нина Сергѣевна получила страшный ударъ въ лѣвый бокъ, лѣвое плечо и лобъ. Кровь горячею струею бѣжитъ по ея лицу и теперь все уже кажется ей краснымъ—и небо, и дома, и лица дочерей, и ихъ наряды...

Фаничка съ ужасомъ смотрѣла на мать и держала ея руку въ своихъ, между тѣмъ какъ Мэри, привставъ, поспѣшно разстегнула и расшнуровала ей платье и махала надъ нею вѣеромъ. Глаза Нины Сергѣевны дико блуждали, налились кровью, а лицо ея приняло синеватый оттѣнокъ, въ горлѣ хрипѣло. Небо было зловѣщее, свинцовое, и только внизу на горизонтѣ ширилась бѣ-

лая полоса разсвѣта. Карета ѣхала все такъ же быстро и спокойно и черезъ минуту остановилась у крыльца Лоскотинскаго дома.

Мэри приказала кучеру и дворнику сѣсть на лошадей и летѣть за докторами. Карету отложили, и Нина Сергѣевна, которую, какъ оказалось, не было никакихъ силъ, безъ помощи мужчинъ, перенести въ домъ, лежала въ ней, полураздѣтая, облитая водой изъ колодца, и все хрипѣла, вращая глазами и показывая на сгибы локтей... Должно быть, она хотѣла, чтобы ей бросили кровь...

Антипьевна вышла. Она смотрѣла на свою старую барыню, которая столько разъ бивала ее и когда-то посылала «на конюшню», и плакала горько.

— Говорила я — не къ добру упала топо́ля, болѣзно шептала она горничной.

Фаничка рыдала, пряча лицо въ бальныя перчатки. Мэри хмурила брови, и ей не хотѣлось вѣрить, что maman умираетъ. Она была блѣдна и подбородокъ ея дрожалъ.

Проснулся поваръ, почти мальчикъ, худой и бѣлобрысый, и глазѣлъ на карету. Мэри, увидѣвъ его, приказала, чтобъ и онъ отправился за докторомъ. Онъ повиновался.

А Нина Сергѣевна то ясно сознавала, что

дѣлается вокругъ нея и что съ нею, то теряла сознаніе. Темнокрасное небо было такъ низко, что давило ее. Красный сумракъ иногда сгущался кругомъ до того, что она ничего не могла разсмотрѣть. Тогда она слышала звонъ колокольчиковъ. Неслись бѣшеныя тройки. Мимо мелькали черныя деревья, хаты. Горѣлъ огнями старый помѣщичій домъ! Тамъ вечеринка. На щекахъ Нины Сергѣевны пышетъ румянецъ. Она— бойкая, стройная дѣвушка, и кавалеры, въ сюртукахъ, съ узкими рукавами, и пестрыхъ жилетахъ, увиваются за нею. Вотъ опять тройки, опять гремятъ колокольчики, бубенчики. Темно, ночь, звѣзды мерцаютъ, снѣгъ скрипитъ подъ полозьями, фыркаютъ лошади... Кто-то цѣлуетъ ее...

«Но зачѣмъ тутъ плачетъ Фаничка и гдѣ Мэри?.. И что съ Лизой?»... думаетъ Нина Сергѣевна и хрипитъ, озираясь.

Шаршмидтъ пріѣхалъ. Онъ велѣлъ перенести больную въ домъ, изслѣдовалъ ее, сосчиталъ пульсъ, махнулъ рукой, авторитетно сказалъ Мэри: «Приготовляйтесь, она должна умирать», и объявилъ, что кровь пускать совершенно безполезно, но посовѣтовалъ прикладывать къ головѣ ледъ...

Тутъ Мэри послала за священникомъ и заплакала.

Нина Сергѣевна посмотрѣла на нее неподвижнымъ взглядомъ и подумала: «негодяй, онъ, кажется, обидѣлъ ее»—и опять забылась... Шумъ нагналъ на нее ужасъ. Этотъ шумъ, глухой и непріятный, постепенно росъ. Казалось, что гдѣ-то вдали идутъ мужики въ тяжелыхъ сапогахъ по пустымъ комнатамъ, расположеннымъ безконечной амфиладой. Вотъ они ближе и ближе... Вотъ они въ спальнѣ... «Вы зачѣмъ здѣсь?» хочетъ сказать Нина Сергѣевна и смотритъ на нихъ дрожа. Ихъ всего четыре человѣка. Они въ красныхъ рубахахъ, въ бородахъ, и лица ихъ смѣются, и они подмигиваютъ ей какъ-то страшно и многозначительно. «Ну, ребята!» говорятъ они вдругъ, засучиваютъ рукава и плюютъ въ руки. И, ставъ по четыремъ угламъ кровати, наклоняются и кричатъ: «Ну, разомъ, ну!» Кровать тронулась, покачнулась... Нина Сергѣевна хотѣла ухватиться за подушки, за перину, за одѣяло, потому что боялась упасть, но не могла пошевельнуться — силъ не было.

Мэри и Фаничка съ тоской и слезами

смотрѣли на нее и ласкались къ ней, думая успокоить ее. Черезъ минуту она, дѣйствительно, стала спокойнѣе — перестала хрипѣть. А еще черезъ минуту судорожно вытянулась, и неподвижно уставилась глазами въ одну точку.

Священникъ вошелъ въ спальню со святыми дарами и крестомъ, торопливо облачаясь на-ходу. Но было уже поздно.

XXVIII

ПРОШЛО около трехъ недѣль. Фаничка, горько плакавшая, когда хоронили maman, вскорѣ утѣшилась. Она стала чувствовать себя свободной, независимой, могла ходить куда угодно, спать хоть до обѣда, и это чувство самостоятельности выгодно отразилось на ея внѣшности— глаза ея стали глядѣть увѣреннѣе, серьезнѣе, она даже расцвѣла и къ концу мѣсяца замѣтила, что у ней полнѣетъ подбородокъ. Ее постоянно посѣщали подруги — когда-то онѣ были забракованы maman — и съ ними она ѣздила кататься, ѣздила на хуторъ, угощала ихъ, дѣлала имъ подарки. Иногда

всѣ забирались на антресоли, располагались тамъ спать, и всю ночь Мэри слышала, какъ онѣ болтаютъ о разныхъ пустякахъ, хохочутъ, цѣлуются или поднимаютъ гамъ, пискъ, визгъ...

Мэри нѣсколько разъ заговаривала съ Фаничкой о томъ, что нехорошо такъ вести себя — меньше чѣмъ въ мѣсяцъ она расшвыряла до сорока рублей и точно радуется, что maman умерла. Фаничка, наконецъ, разсердилась, накричала на сестру—и онѣ поссорились, такъ-что перестали говорить одна съ другой. Мэри переселилась въ спальню maman.

Маша Линина, пріѣхавшая изъ деревни, заходила къ Мэри, бесѣдовала о Лизѣ, уныло вздыхала. Посѣщали ее и другія дамы и говорили, что искренно соболѣзнуютъ «прелестнымъ сиротамъ». Даже Клавдія Аполлосовна побывала. Но Мэри встрѣчала всѣхъ холодно и, во время визитовъ, молчала, потупившись. Она была въ глубокомъ траурѣ, похудѣла и пожелтѣла, и брови ея были всегда нахмурены.

У ней созрѣло рѣшеніе отказаться отъ своей доли наслѣдства и сдѣлать изъ нея такое употребленіе, какое сдѣлаетъ Лиза.

Лиза продолжала быть ея идеаломъ, но недостижимымъ. Учить ребятъ въ деревнѣ, непосредственно служить народу—казалось ей самымъ труднымъ дѣломъ. Она хотѣла подвига сестры, но хотѣла и подвига мученицъ первыхъ вѣковъ христіанства и, повременамъ, читая житіе Варвары или Екатерины, плакала отъ восторга, отъ страстнаго порыва, сжимавшаго ей горло...

Она вѣрила въ загробную жизнь, и ей казалось, что душа maman гнѣвно смотритъ на нее изъ какого-то могильнаго сумрака. Чтобъ сдѣлать что-нибудь согласное волѣ maman, она приказала не принимать Пьера.

Пьеръ обидѣлся. Но недѣли черезъ двѣ написалъ Фаничкѣ длинное письмо, на которое она сейчасъ же отвѣтила и пригласила его къ себѣ. Онъ явился. Она приняла его въ гостиной.

Пьеръ былъ въ черномъ сюртукѣ, она въ траурномъ платьѣ. Они смотрѣли другъ на друга и сдержанно улыбались. Все прежнее казалось ей не серьезнымъ. Она простила ему обиду на вечерѣ и когда узнала, за что maman велѣла отказать ему отъ дома, то тихо разсмѣялась. Серьезнымъ представлялось ей только это свиданіе. Теперь ихъ

любовь можетъ не скрываться, никто имъ не помѣшаетъ, и мѣсяцевъ черезъ шесть они, если захотятъ, повѣнчаются. Пьеръ самъ это почувствовалъ и почти испугался. Дѣйствительно, свиданіе серьезное. Онъ не посмѣлъ ей говорить *ты*, и она тоже говорила ему *вы*.

На другой день опять свиданіе и опять та же сдержанность. Затѣмъ они свидѣлись еще раза два, и, наконецъ, стало ясно, что это ужь не простая любовная интрижка. И чтобъ разбить ледъ, мѣшавшій ему цѣловать Фаничку и говорить съ ней задушевно, Пьеръ сдѣлалъ ей предложеніе.

Онъ очень любилъ Фаничку. Впечатлѣніе, произведенное на него Клавдіей Аполлосовной на вечерѣ, поблѣднѣло, когда, явившись черезъ день на урокъ, онъ былъ встрѣченъ съ прежней холодностью и вѣжливой оффиціальностью. Слѣдующіе уроки были неизмѣнно такіе же. Клавдія Аполлосовна, въ сущности, была даже груба съ нимъ. Она едва протягивала ему руку и презрительно щурилась, когда онъ поднималъ на нее глаза. Балъ казался ему мимолетнымъ сномъ и надо было возвратиться къ болѣе постоянной дѣйствительности. Что касается Мэри, то

онъ злился на нее за приказаніе не принимать его, хотя и зналъ, что такова была воля еще покойной Нины Сергѣевны. Мэри къ тому же совсѣмъ перестала ему нравиться,—почему? — онъ не задавалъ себѣ вопроса. Онъ слишкомъ былъ наполненъ мыслью о Фаничкѣ. Стройная, темноглазая, съ цвѣтущимъ лицомъ, капризными губами, красивыми продолговатыми кистями рукъ, лебяжьей шеей, волнистыми волосами, густо покрывающими голову, множествомъ кудрявыхъ подволосковъ на бѣломъ и нѣжномъ загривкѣ, Фаничка мерещилась ему ночью и днемъ, и онъ былъ въ восторгѣ, когда, въ отвѣтъ на его предложеніе, она сказала: «Хорошо, Пьеръ». Конечно, они затѣмъ обнялись, поцѣловались. Ледъ былъ разбитъ до того, что Фаничка сѣла на колѣна къ Пьеру и, радостная, стала строить планы относительно будущаго. Если перевести все на деньги, то ей досталось отъ maman тысячъ пятнадцать, и, пожалуй, сестры отдадутъ ей домъ. Женившись, придется ѣхать въ университетскій городъ, чтобъ Пьеръ кончилъ курсъ. Потомъ они опять пріѣдутъ сюда. Пьеръ станетъ служить по выборамъ. Они будутъ счастливы...

Пьеръ слушалъ и ласкалъ Фаничку.

Это происходило на антресоляхъ, на балкончикѣ. Жара спала, и садъ чуть-чуть шумѣлъ. Справа тополи бросали на него косыя тѣни. Влюбленнымъ казалось, что они одни среди этого послѣобѣденнаго покоя, подъ этимъ яснымъ голубымъ небомъ, и міръ не существовалъ для нихъ... Они существовали только.

Но Мэри видѣла ихъ. Она пришла на антресоли, чтобъ взять изъ кіота медальонъ съ волосами maman. Она увѣряла себя, что пришла именно за этимъ. Они сидѣли спиной къ ней и не могли слышать ея мягкихъ шаговъ, потому что возлѣ нихъ шумѣло дерево, задорно чирикали воробьи, и сами они были увлечены другъ другомъ. Мэри хотѣла уйдти, взявъ медальонъ; но дыханіе у ней захватило, ноги подкосились. Она поборола стыдъ и бросилась на балкончикъ.

— Фаничка! — испуганно вскричала она и схватила сестру за плечо.

Та вскочила, обернулась и смотрѣла на Мэри растеряннымъ взглядомъ. Румянецъ нервно горѣлъ у ней на щекахъ, между тѣмъ какъ Мэри была блѣднѣе бумаги и губы ея были бѣлы. Пьеръ продолжалъ

сидѣть, хмурился и нервно крутилъ усикъ, глядя въ полъ-оборота на Мэри.

— Какъ ты меня испугала! — сказала, наконецъ, Фаничка со вздохомъ и улыбнулась, передвинувъ на плечахъ пелеринку. — Ты знаешь, это — мой женихъ...

Она нѣжно посмотрѣла на Пьера.

Мэри потупилась. Лицо ея сдѣлалось еще блѣднѣе и губы затряслись. «А, вотъ что!» подумала она.

— Ты забыла о распоряженіи maman?— сказала она глухо.

— Maman умерла, — сказала Фаничка.

Мэри постояла на балкончикѣ нѣсколько секундъ, храня мертвое молчаніе, и ушла, не поднимая глазъ, медленной походкой...

А Фаничка затѣмъ всѣмъ стала разсказывать, что она невѣста Пьера. Черезъ три дня объ этомъ зналъ весь городъ.

XXIX

ЗВОНИЛИ къ вечернѣ. Солнце золотило главы церквей, которыя горѣли вдали въ блѣдно-сизой дымкѣ, смягчавшей пестрый и яркій пейзажъ. По голубой глади Десны серебряными петлями струилась рябь. Мѣрно опускались и поднимались весла. Вода косо падала съ нихъ продолговатыми каплями. Лодка летѣла стрѣлой. Фаничка управляла рулемъ; Пьеръ въ соломенной шляпѣ сидѣлъ противъ нея, на поперечной скамеечкѣ; молодые люди обоего пола въ лѣтнихъ костюмахъ громко переговаривались между собой и съ наслажденіемъ гребли,

замолкая на минуту, когда надо было «наддать».

Городъ вынырнулъ на правомъ берегу. Налѣво убѣгалъ плоскій песчаный берегъ.

— Мнѣ скучно, что сейчасъ пріѣдемъ,— сказала Фаничка.

— А мнѣ такъ надоѣло это катанье, — сказалъ Пьеръ.

— Почему? — спросила она.

— Много постороннихъ глазъ, — прошепталъ онъ.

Взглядъ ея потупился, губы сложились въ улыбку.

— Правда! — сказала она тихо и покраснѣла.

— Я вотъ весь день жду свободной минуты, — продолжалъ Пьеръ, — но увы!...

Онъ развелъ руками; потомъ сказалъ съ упрекомъ:

— Впрочемъ давно жду... Помнишь, Фаничка, съ какихъ поръ?

Она посмотрѣла ему въ глаза и снова потупилась.

— Нѣтъ, Фаничка, ты очень жестока,— сказалъ онъ со вздохомъ.

Она повернула руль. Лодка стала описывать полукругъ. Городъ былъ совсѣмъ

близко — рукой подать. Виднѣлись купальни.

— Ты вѣдь имянинникъ завтра?—сказала Фаничка. — Завтра Петра и Павла! Знаешь что, Пьеръ?

— Ну, что?

— Поѣдемъ на хуторъ. Будетъ пирогъ, шампанское... Поѣдемъ?

— Вдвоемъ?..

— Нѣтъ, всей компаніей... Они хорошіе люди... Тамъ вѣдь не то, что въ лодкѣ... Увѣряю, тамъ просторно... Домикъ, роща...

Пьеръ взглянулъ ей въ глаза. Зрачки ихъ встрѣтились. Онъ улыбнулся.

— Идетъ! — сказалъ онъ.

— Господа!..—крикнула Фаничка, и затѣмъ пригласила гостей на имянины своего жениха, объявивъ, что если кто не пожелаетъ идти пѣшкомъ, — до хутора шесть верстъ, — можетъ взять извощика на ея счетъ.

— Ладно! —сказалъ кто-то басомъ.

Уключины затрещали. Это гребцы сдѣлали послѣднее энергическое усиліе и затѣмъ пустили лодку. Пристань и берегъ бѣжали на-встрѣчу. Изъ купаленъ несся крикъ женщинъ и дѣтей. Поодаль голыя тѣла

барахтались въ водѣ, то и дѣло соскальзывая съ мокрыхъ, фыркающихъ лошадей. Вода пѣнилась, мутная, грязная. Вотъ лодка ударилась въ пристань, кто-то схватилъ ее за носъ — и молодые люди одинъ за другимъ вышли по зыбкимъ мосткамъ на твердую землю.

— Итакъ, завтра пиръ на весь міръ! — весело сказала Фаничка, прощась со всѣми и садясь на извощичьи дрожки. Она спѣшила въ гастрономическую лавку и къ кондитеру, чтобъ сдѣлать заказы.

Пьеръ смотрѣлъ ей вслѣдъ, и сердца его радостно билось.

XXX

На другой день Пьеръ всталъ въ одиннадцать часовъ, одѣлся въ холстъ — по дачному, послалъ къ Фаничкѣ въ помощь сестру и только-что самъ хотѣлъ ѣхать, какъ къ нему вошелъ ливрейный лакей и почтительно подалъ письмо отъ Клавдіи Аполлосовны.

Она сухо приглашала его «пожаловать» къ ней сегодня, на пять минутъ, «для необходимыхъ переговоровъ», въ два часа.

Онъ немного струсилъ. Въ послѣднее время онъ пропускалъ уроки.

Онъ отпустилъ лакея и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, подумалъ: «какъ это все не кстати».

И однако, ему очень захотѣлось къ Клавдіи Аполлосовнѣ. Надо было, во что бы то ни стало, быть у ней ровно въ два часа. Фаничка немного разсердится, что онъ поздно явится, но—что же дѣлать? «Нѣтъ, да и не разсердится», сообразилъ онъ и опять зашагалъ по комнатѣ. Обѣдъ и пирогъ едвали поспѣютъ раньше четырехъ; а въ четыре ужь онъ непремѣнно будетъ на хуторѣ. Онъ успокоился, переодѣлся, договорилъ на цѣлый день извощика и въ назначенный срокъ велѣлъ доложить о себѣ Клавдіи Аполлосовнѣ.

Она не вышла къ нему, а велѣла сказать, чтобъ онъ шелъ прямо къ ней, въ будуаръ. Лакей указалъ ему, куда идти.

Въ будуарѣ было темновато отъ тропической зелени и драпировокъ, и, среди сѣрыхъ, атласныхъ диванчиковъ съ голубой отдѣлкой, креселъ, пуфовъ, козетокъ, зеркалъ въ фарфоровыхъ рамахъ, фарфоровыхъ столиковъ и этажерокъ, Пьеръ едва разглядѣлъ Клавдію Аполлосовну.

Она лежала на кушеткѣ, въ блузѣ какого-то мягкаго, свѣтлаго цвѣта, съ темными бантами, и, надменно взглянувъ на него, сказала, не протягивая ему руки:

— Вы довольны вашимъ урокомъ?

Онъ подумалъ:—«что за пріемъ и что за вопросъ?»—и слегка обидѣлся. Клавдія Аполлосовна никогда еще не говорила съ нимъ такъ высокомѣрно.

— Д-да... — сказалъ онъ.

— Это вѣдь хорошій урокъ? — спросила она.

— Д-да...

— Надѣюсь,—сказала она и замолчала.

Онъ стоялъ. Прежде онъ никогда не сѣлъ бы безъ приглашенія; но теперь онъ чувствовалъ себя самостоятельнѣе. У него было болѣе или менѣе обезпеченное будущее, благодаря предстоящей женитьбѣ его на Фаничкѣ, и это позволяло ему держать себя независимо. Соображеніе это впрочемъ только теперь пришло ему въ голову. Онъ нахмурился. Клавдія Аполлосовна замѣтила, что онъ ищетъ глазами на чемъ сѣсть, и тактъ, котораго она держалась всегда съ «низшими», заставилъ ее поспѣшить сказать:

— Сядьте.

Онъ покраснѣлъ и сѣлъ. Онъ понялъ, что опоздалъ. Это «сядьте» внезапно лишило его самоувѣренности. Прежняя застѣн-

чивость, страхъ неловко ступить, неловко сѣсть, некстати высморкаться, чихнуть, сказать плоскость—вернулись къ нему съ удвоенной силою. Но повліяла на него также и поза Клавдіи Аполлосовны — она все лежала на кушеткѣ, и въ этой позѣ, свободной и даже красивой, но слишкомъ домашней, сказывалось что-то презрительное, не признающее въ немъ человѣка, низводящее его на одинъ уровень съ вещами, которыхъ вѣдь никто не стѣсняется. Онъ въ первый разъ былъ въ будуарѣ знатной дамы и такъ былъ взволнованъ, что не смѣлъ поднять на нее глазъ; а когда поднялъ, то встрѣтилъ ледяной взглядъ, отъ котораго сердце его странно забилось.

— Я ѣду завтра или послѣ завтра въ Біарицъ, — сказала послѣ паузы Клавдія Аполлосовна. — Ученикъ вашъ ѣдетъ со мной...

Она помахала себѣ въ лицо вѣеромъ и искоса взглянула на Пьера.

Онъ слегка кивнулъ головой. Онъ замѣтилъ этотъ косой взглядъ и сообразилъ, что Клавдія Аполлосовна готовитъ ему какой-то сюрпризъ. Всегда нуждаясь въ деньгахъ, онъ подумалъ, что, уѣзжая, она хочетъ заплатить ему за все лѣто, можетъ

быть, по сентябрь включительно. Но сейчасъ же подумалъ: «нѣтъ, тутъ что-то другое»...

— Хотѣли бы вы удержать за собой вашъ урокъ?—сказала вдругъ Клавдія Аполлосовна.

— То-есть...—промолвилъ онъ, робѣя, и подумалъ: «такъ вотъ что! Неужели ѣхать за-границу?»

— Ну, да, — сказала она, угадавъ его мысль.

Онъ вздрогнулъ. Онъ вспомнилъ балъ, вальсъ. Взглянулъ на Клавдію Аполлосовну, и голова его закружилась.

— На долго?—спросилъ онъ, желая придать лицу серьезное выраженіе и скрыть радость, охватившую его, но не могъ ее скрыть.

— До глубокой осени... Завернемъ въ Италію...— сухо сказала Клавдія Аполлосовна и опять изъ-за вѣера посмотрѣла на него.

Онъ поклонился и сказалъ:

— Съ удовольствіемъ...

Клавдія Аполлосовна чуть-чуть улыбнулась.

— Вы будете получать по двѣсти рублей въ мѣсяцъ, кромѣ путевыхъ расходовъ,— сказала она затѣмъ.

Онъ покраснѣлъ, потупившись. Разныя мысли приходили ему. Перспектива рисова-

лась радужная. Надежда мелькнула, что тамъ, за-границей, пожалуй, и романъ выйдетъ у него съ этой вотъ неприступной и надменной барыней, на которую и обидѣться, въ сущности, нельзя — такъ она величественна и царственна сегодня. Вспомнилъ о Фаничкѣ. Жениться на ней все равно теперь нельзя, а когда еще выйдетъ срокъ траура? Какъ разъ къ зимѣ. До тѣхъ поръ вѣдь надо-жь ему жить, надо трудиться, зарабатывать деньги. Неужели это преступленіе? Онъ мысленно пожалъ плечами...

Между тѣмъ молчаніе, наступившее послѣ словъ Клавдіи Аполлосовны, длилось минуты двѣ и было прервано ею же. Она сказала, помахивая вѣеромъ:

— Вотъ еще... Я вамъ... Это не все...

И опять замолчала. Должно быть, ее стѣснялъ русскій языкъ, потому что, вспомнивъ разговоръ съ Пьеромъ во время кадрили, она начала по-французски:

— Êtes vous disposè à m'obéir?..

Пьеръ почтительно поклонился.

— Eh bien, je vais vous mettre à l'èpreuve... сказала Клавдія Аполосовна, краснѣя. Потомъ нахмурилась и закусила губу. Ее злило, что она конфузится, какъ мѣщанка, и что

молодой человѣкъ, конечно, видитъ ея смущеніе.

— Подойдите сюда!—сказала она вдругъ капризно. — Садитесь!

Она указала ему глазами на кушетку. Взглядъ ея теперь смѣялся, но въ немъ уже не было холода, а что-то горячее, тревожное. Пьеръ почувствовалъ, что сходитъ съ ума. Дрожь пробѣжала по тѣлу. И когда онъ сѣлъ, то зубы его стучали.

— Вы женитесь?—тихо и сухо спросила Клавдія Аполлосовна.

— Я хотѣлъ... — началъ Пьеръ.

— На этой... на Фаничкѣ?..

— Да...

— Вы не женитесь на ней,—сказала она.

Онъ молчалъ.

— Дайте слово!

Пьеръ умиралъ отъ счастья. Что за Фаничка? Какая Фаничка? Вотъ тутъ, сейчасъ, возлѣ него, дышетъ гибкій станъ красавицы, недоступной, какъ божество — и этотъ станъ будетъ покоренъ ему... А вѣдь кто же онъ самъ?.. Плебей! Рубанскій, сынъ квартальнаго!

. . . . . .

XXXI

ТЕПЕРЪ уѣхалъ отъ Черемисовыхъ въ шесть часовъ. Въ карманѣ у него было триста рублей, и онъ расплатился съ портнымъ и другими кредиторами помельче, и въ еврейскихъ лавкахъ накупилъ необходимыхъ для дальнѣйшаго путешествія вещей. Онъ не забылъ о Фаничкѣ и о пирогѣ на хуторѣ, но все это казалось ему почти забавнымъ. Онъ стоялъ теперь на какой-то высотѣ неизмѣримой, точно вдругъ открылось, что онъ—ближайшій наслѣдникъ какого-то владѣтельнаго князя. Пирогъ — «вѣроятно, скверный» — могли съѣсть и безъ него; да къ тому же, все равно, надо

вѣдь разорвать съ Фаничкой. Долго не чувствовалъ онъ никакихъ угрызеній. Даже самъ хотѣлъ поѣхать къ Лоскотинымъ часовъ въ восемь повидаться съ Фаничкой и все объяснить ей. Онъ былъ убѣжденъ, что она пойметъ его, и если искренно любитъ, то не станетъ упрекать. И дѣйствительно, поѣхалъ; но съ половины дороги вернулся и отправился къ оптику.

— Дайте мнѣ консервы, сказалъ онъ. — Самые синіе... вообще темные...

Оптикъ еврей, въ полосатомъ пиджакѣ и грязномъ бѣльѣ, подалъ ему консервы и, поправивъ черепаховое пэнснэ на горбатомъ носу, спросилъ:

— У васъ глаза болятъ?..

— Д-да...—сказалъ Пьеръ, примѣряя консервы.

— Ежели болятъ глаза,—началъ оптикъ съ увлеченіемъ,—то берите вы верхушку *изъ сахарное головы*, чтобъ *былъ себѣ этакой дырочка* по середкѣ... Очень размачивайте *у* водѣ и потомъ потихонечку прикладывайте! Прэ-элесть! — Тутъ онъ сдѣлалъ по возможности прелестное лицо и взялъ съ Пьера три рубля.

Пьеръ въ очкахъ опять поѣхалъ къ Лоскотинымъ. Въ передней встрѣтилъ горничную и узналъ отъ нея, что Фаничка только-что возвратилась и сидитъ въ бесѣдкѣ.

Онъ спросилъ трусливо:

— Что жь она?.. Здорова?..

— Здорова, а только *чегось* плакали, — отвѣчала горничная.

— Чего? Не знаешь?.. Ты не ѣздила съ нею?

— Ѣздила... Да все васъ ждали!—сказала горничная. — Ждали васъ, ждали... Только *вже* пять часовъ... Только *вже* и шесть... «Кушайте!» говоритъ гостямъ, а сами не кушаютъ. Ну, гости — что имъ?— допались до пирога, ничего не оставили... Такъ-то!..

— Ахъ, Боже мой!—сказалъ Пьеръ. — Такой случай со мной вышелъ... Милочка, нà вотъ, тебѣ рубликъ — не говори, что я пріѣзжалъ... Пріѣду завтра... или...

И онъ бросился на улицу, снялъ очки и полетѣлъ домой, гдѣ засталъ Машу.

Онъ объяснилъ ей, въ чемъ дѣло, и горячо просилъ ее быть посредницей. Но та поблѣднѣла и отказалась.

— Пьеръ, — сказала она, — это тяжело.

Ахъ, Пьеръ! Ты, можетъ быть, многаго хочешь... Пьеръ, неужели Фаничка мѣшаетъ?

Онъ нервно махнулъ рукой и, взявъ сестру за плечи, сказалъ выразительнымъ шепотомъ, приблизивъ къ ней лицо:

— Ты знаешь, Маша, я не могу любить никого...

— Почему, Пьеръ?

— Не могу — у меня связь...

— Съ кѣмъ?—воскликнула Маша боязливо.

— Съ Клавдіей Аполлосовной...— произнесъ онъ почти неслышно и серьезно, и значительно глядѣлъ на сестру въ теченіе нѣсколькихъ секундъ, пока въ сосѣдней комнатѣ, за дверями, не раздалось хихиканье Линина... Тогда Пьеръ повернулся и вышелъ, сердито хлопнувъ дверью.

Онъ рѣшилъ написать письмо и послать его съ своимъ извощикомъ... Онъ спѣшилъ, нервничалъ и письмо написалъ коротенькое и почти грубое.

XXXII

ФАНИЧКА, которой горничная передала уже о Пьерѣ и о томъ, что съ нимъ «вышелъ случай», — «должно, глазъ выкололъ, потому въ очкахъ, страшный такой», — и, которая хотѣла уже идти къ Лининой, чтобъ узнать, что это за случай, получила письмо на террасѣ, гдѣ сидѣла въ креслахъ покойной maman и мучилась. Письмо прибавило муки; оно испугало ее, еще не будучи прочитано. Адресъ былъ какой-то необычайный: «Ея Высокородію, Феофаніи Павловнѣ Лоскотиной, въ собственныя руки. *Отвѣта ненадо*». Рука была, несомнѣнно, Пьера. Сердце Фанички

билось тревожно, и она цѣлый часъ проносила письмо въ карманѣ, не вскрывая его. Казалось, что тамъ какой-то ядъ, и ей хотѣлось отдалить роковую минуту.

Стало темнѣть. Мэри такъ вела домъ, чтобъ въ немъ хоть сколько-нибудь чувствовался порядокъ, заведенный Ниной Сергѣевной. Чай, какъ и прежде, продолжали пить на террасѣ, при свѣчахъ. Антипьевна жила въ своей коморкѣ съ кошками,— она не хотѣла съ ними разставаться, — и весь день ея не было видно. Но вечеромъ она всегда являлась съ чистой скатертью и приготовляла чайную посуду. Фаничка безучастно смотрѣла сегодня на всю эту процедуру. Она перешла въ гостиную и легла на диванъ; отъ чаю отказалась. Къ ней достигала полоска свѣта, пересѣкая ея руку, бѣлѣвшую на черномъ фонѣ диванной обивки. Мэри сидѣла къ ней спиной, въ рамѣ открытыхъ дверей, и казалась ей въ высшей степени унылой фигурой. Иногда она ненавидѣла ее за то, что у ней такая спина и что она такъ неподвижно сидитъ, точно мертвая. Между тѣмъ какъ письмо, лежавшее въ карманѣ, то влекло ее къ себѣ, то отталкивало; наконецъ она вынула его.

Въ темнотѣ оно было не такое страшное. Отъ него пахло духами.—«Какіе это духи? Должно быть, миль-флеръ»,—подумала Фаничка. Она тихонько сорвала конвертъ; развернула твердую почтовую бумажку. Пальцы ея дрожали. Она помѣстила письмо въ полоску свѣта на диванѣ и стала со страхомъ читать, напрягая зрѣніе. Въ ушахъ у нея звенѣло, въ вискахъ стучало.

На столѣ, передъ Мэри, стоялъ стаканъ молока и лежалъ ломтикъ чернаго хлѣба. Чаю она все не пила и стала уже отвыкать отъ него. Она думала о Лизѣ, которая, вѣроятно, одна въ состояніи повліять на Фаничку. Расточительность Фанички злила ее. Сама она не издержала на себя еще ни гроша, а вотъ сегодняшній пирогъ Фанички обошелся въ двадцать два рубля. Она знала, что все это устраивалось для Пьера, но онъ не пріѣхалъ. Ей было и жаль Фаничку, и въ то же время хотѣлось, чтобъ Пьеръ никогда ужь больше не видѣлся съ Фаничкой.—«Ей слѣдуетъ прогнать его, поссориться»,—думала она и опять возвращалась въ двадцати двумъ рублямъ...

Вдругъ она услышала стонъ, болѣзненный, всхлипывающій. Она тревожно при-

слушалась. Черезъ секунду стонъ повторился, и кто-то глухо зарыдалъ — всею грудью. Она бросилась въ гостиную, къ дивану. Не было сомнѣнія, рыдала Фаничка.

— Что съ тобой, Фаничка, дорогая?— вскрикнула она, обнимая въ темнотѣ сестру и забывая мгновенно всѣ непріятности, какія въ послѣднее время накопились между ними, но догадываясь изъ-за чего эти слезы

Фаничка не отвѣчала и еще сильнѣе стала рыдать. Сочувствіе Мэри, ея поцѣлуи и ласковый шепотъ убѣдили ее, что въ самомъ дѣлѣ скорбь ея неизмѣримо велика. Она поймала руку сестры и прижала ее къ груди.

— Мэри, Мэри! — промолвила наконецъ она. — Посмотри, какое письмо прислалъ мнѣ этотъ подлый человѣкъ!..

Ей теперь надо было друга, искренняго и сострадательнаго, чтобъ излиться передъ нимъ; иначе, слезамъ ея не будетъ конца. И она вдругъ полюбила Мери.

Она привстала на диванѣ и обняла ее, пряча въ ея волосахъ мокрое лицо.

— Голубочка, Мэри!—прошептала она.— Прости меня за все!

— Что ты, Фаничка... Забудемъ...

— Забудемъ, Мэри. Ахъ, Мэри! Ты знаешь... Я ревновала къ тебѣ,—сказала она, рыдая.

— Ну, вотъ, оставь Фаничка!..

Фаничка продолжала:

— Стоитъ ли онъ этого?.. Ты—милая, хорошая, а я ревновала!

— Оставь, Фаничка,—сказала Мэри. — Что же онъ тебѣ написалъ?

Рыданія Фанички усилились. Она подала сестрѣ скомканное письмо и сказала:

— Прочти... Прочти, какой онъ подлый!

Чѣмъ болѣе убѣждалась Мэри въ разрывѣ Фанички съ Пьеромъ, тѣмъ сильнѣе жалѣла ее. Но когда принесла свѣчку и она прочитала его письмо, такъ что разрывъ сдѣлался для нея фактомъ очевиднымъ и несомнѣннымъ, жалость ея къ сестрѣ достигла высшей степени. Она сама заплакала и крѣпко обняла Фаничку, осыпавъ ее горячими, радостными поцѣлуями. Фаничка голосила, но уже горе ея, благодаря теплому участію сестры, не казалось ей такимъ громаднымъ, какъ въ началѣ, и ей захотѣлось, мало-по-малу, разсказать Мэри *все*. И она разсказала. Но, разсказавши, очень удивилась, что почти утѣшилась и не мо-

жетъ больше плакать.—«Мэри конечно подумаетъ, что я безсердечная»,—сказала она себѣ, но все-таки не въ состоніи была плакать. Напротивъ, разочекъ даже улыбнулась. Только у Мэри отъ времени до времени текли изъ глазъ слезы, хотя лицо у ней сіяло кротостью и взглядъ былъ любовенъ и нѣженъ. Никогда она,— со для послѣдняго свиданія съ Лизой,— не была еще такой прекрасной и такой юной, и брови ея совсѣмъ не хмурились...

Сестры легли спать вмѣстѣ. Онѣ не могли разстаться и ихъ руки постоянно сплетались. На кровати maman было просторно, и онѣ вспомнили, какъ въ дѣтствѣ у нихъ тоже была общая постель. Фаничка утѣшилась окончательно. Она ругала Пьера и утверждала, что у него совершенно круглый ротъ.

— Знаешь, это мнѣ никогда не нравилось,—сказала она серьезно, устремляя глаза на ярко-горѣвшую лампадку.

Потомъ замѣтила:

— Какъ глупо устроенъ человѣкъ! Любовь! Ну, зачѣмъ это, право?..

Помолчавъ, она сказала:

— Мэри, ты помнишь, на балу со мной

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— Стихи?

— Нѣтъ, теперь ужь не въ модѣ... Да и трудно... Начала одну поэму — такъ и бросила... Я пишу, Мэри, повѣсти, романы...

— Фаничка!—вскричала радостно Мэри — въ самомъ дѣлѣ?

— Честное слово!.. Вотъ я тебѣ скажу названія, — начала Фаничка, припоминая. — «Роковое объясненіе», повѣсть — разъ, — Она загнула палецъ на лѣвой рукѣ. — «Которая изъ двухъ», повѣсть — два. — Она опять загнула палецъ. — «Платоническая любовь», романъ—три... А теперь вотъ сейчасъ задумала драму: «Черное сердце».

Она сказала это и заплакала. Мэри гладила ее по щекѣ, цѣловала и просила успокоиться.

— Фаничка! — сказала она съ заискивающей улыбкой, — прочти мнѣ что-нибудь...

Фаничка закрыла глаза и потрясла головой.

— Ни за что, ни за что!—кричала она.— Это я все уничтожу... Да и ничего нѣтъ оконченнаго... наброски... Вотъ развѣ «Черное сердце» кончу...

И опять заплакала, и опять стала утѣшать ее Мэри.

Но настала наконецъ время, когда обѣимъ захотѣлось спать. Онѣ устали и отъ слезъ, и отъ разговоровъ, и, повернувшись въ разныя стороны, начали дремать.

XXXIII

Гдѣ это звенитъ?.. Не въ ушахъ-ли?— вдругъ пришло имъ разомъ. Онѣ лежали неподвижно, потому что боялись потревожить одна другую и чутко прислушивались. Этотъ звонъ почему-то безпокоилъ ихъ. Сначала онъ былъ слышенъ чуть-чуть, но все росъ, пронизывая нѣчную тишину своимъ мѣрнымъ «динь-динь...» Онъ ужь близко. Ясно, что это почтовый колокольчикъ. Мэри слегка подняла голову; слегка подняла голову Фаничка. «Динь-динь», «динь-динь», «динь-динь...» Звонокъ какой-то не то унылый,

не то радостный. Онъ всегда наводитъ на размышленія. Хочется узнать: кто это ѣдетъ? Куда? И почему-то сочувствуешь и завидуешь этому безвѣстному путнику. И иногда вздохнешь. «Динь-динь-динь-динь» загремѣлъ колокольчикъ у самыхъ воротъ, потомъ внезапно замолкъ, и послышалось фырканье лошадей и людской говоръ. Дѣвушки разомъ вскочили съ постели, тревожно улыбнулись другъ другу. Онѣ недоумѣвали, кто бы могъ пріѣхать къ нимъ.

— Арендаторъ — сдѣлала предположеніе Фаничка.

— Можетъ быть,—сказала Мэри.

Но обѣ не вѣрили, что это арендаторъ.

Калитку между тѣмъ отворилъ дворникъ, угрюмо ворча, и въ голубомъ сумракѣ лунной ночи показалась стройная женская фигура въ темномъ, съ сакъ-вояжемъ.

Дворникъ сталъ что-то говорить ей, но вдругъ торопливо сбросилъ шапку, низко поклонился и кинулся къ ворогамъ отпирать...

— Лиза!—крикнули тутъ обѣ дѣвушки и, въ рубашкахъ, едва успѣвъ зажечь свѣчу, побѣжали въ переднюю. Онѣ отворили дверь, и только вошла Лиза, какъ дружно

обняли ее и стали цѣловать, съ крикомъ и смѣхомъ. Ихъ радость была неизъяснима. И имъ казалось, что это пріѣхала къ нимъ новая maman, молодая, прелестная, которая никогда ужь не покинетъ ихъ...

Stanford University Libraries
3 6105 010 160 096

PG
347
I3B

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE